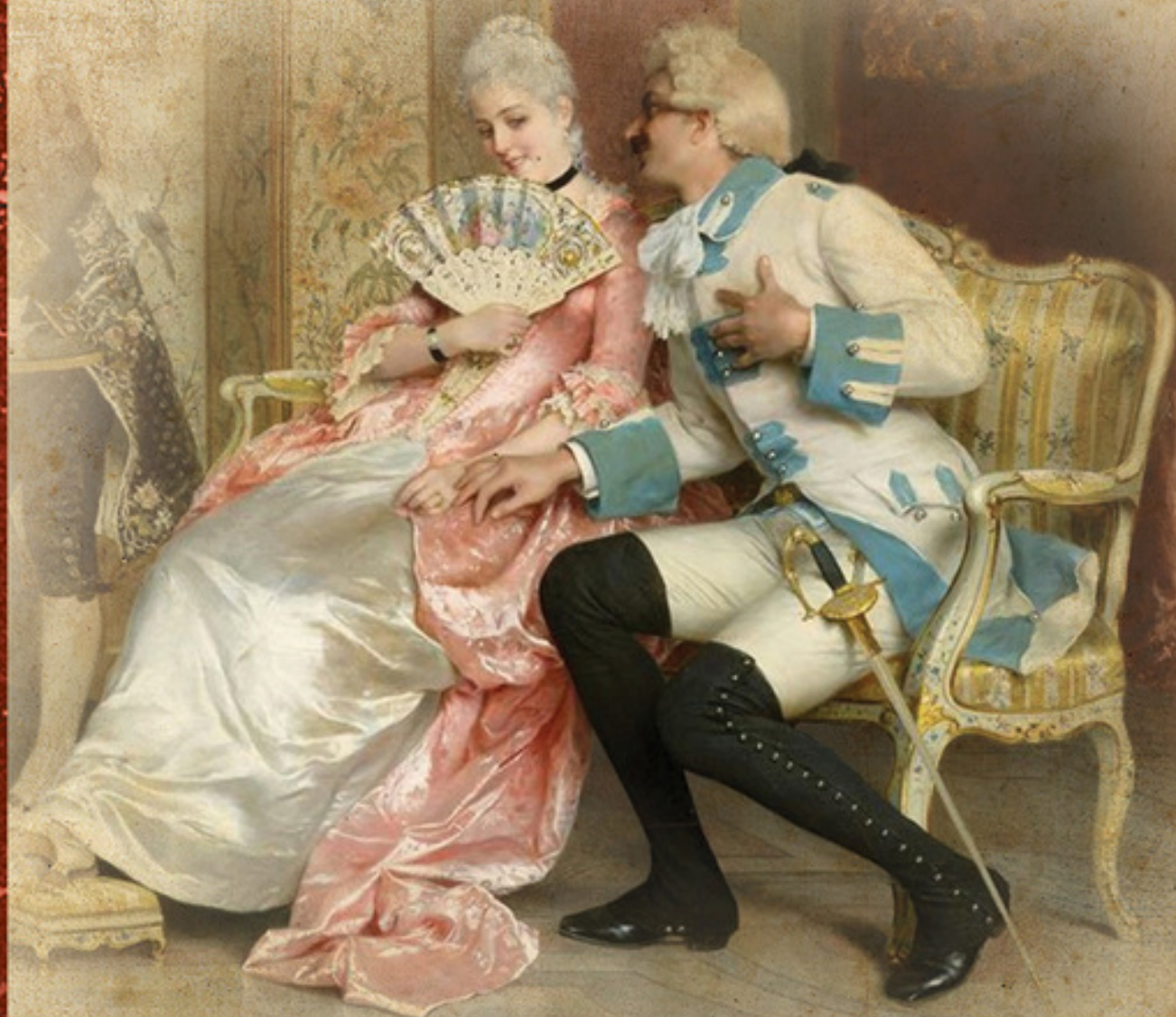


ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА

СОБЛАЗНЫ
ФРАНЦУЗСКОГО
ДВОРА



Елена Арсеньева

Соблазны французского двора

«Автор»

2001

Арсеньева Е. А.

Соблазны французского двора / Е. А. Арсеньева — «Автор»,
2001

ISBN 978-5-699-66035-3

Генерал Дмитрий Корф ставит условие: его невеста должна быть невинна! Казалось бы, очаровательная Маша Строилова вполне отвечает его требованиям. Однако Корфу и невдомек, какой грех скрывает красавица. Служанка заменяет Машу на брачном ложе, но позорный обман открыт... Супруги вынуждены жить вместе, ненавидя друг друга: он за обман, она за равнодушие. Проходит немало лет, исполненных самых трагических событий для Франции, где Дмитрий служит в русском посольстве, и для самих супругов, прежде чем оба понимают: счастье для них немыслимо без любви и еще не поздно начать все сначала... Книга также выходила под названиями «Дуэль на брачном ложе» и «Французский напиток любви».

ISBN 978-5-699-66035-3

© Арсеньева Е. А., 2001

© Автор, 2001

Содержание

Пролог	6
1. Скоробежка	14
2. Измена	18
3. Аристов овраг	26
4. Приемьш	36
5. Честной Лес	42
6. Наилучший способ спастись от обморока на балу	52
7. «Король Марк»	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Елена Арсеньева

Дуэль на брачном ложе

© Арсеньева Е., 2010

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Последствия любви непредсказуемы
Стендаль

Пролог

От Парижа до Марселя три дня пути в карете. Три дня!.. Но это – для других: более разумных, предусмотрительных, а главное – более удачливых. Марии же отчаянно не повезло.

Ехали по отвратительной дороге – все спуски да подъемы. Обочь стояли хилые деревья с обрезанными наголо ради вязанки хвороста стволами. Навстречу тянулись длинные обозы из Прованса, а раза два-три огромные телеги с впряженными в них четверками лошадей чуть не разбили легкую карету. Данила уворачивался молча, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами: при малейшем отпоре провансальские возницы – самые вспыльчивые и грубые на свете – охотно избивали бы кнутами кучера богатого экипажа.

Мелькнул впереди объезд, Данила тотчас повернул – и через полчаса неровной, мучительно-тряской езды случилось вот что: карета жалобно запищала, потом закачалась, словно некий великан решил позабавиться и потрясти ее, – и вдруг села с хрустом на «брюхо», а Мария, падая с сиденья, успела увидеть в окно, как весело катится прочь колесо.

Через несколько минут, когда она выбралась из кареты и подошел, хромя, Данила, выяснилось, что укатились два колеса. Враз.

Какие только чудеса не случаются на дороге, – но чтобы сломались одновременно две железные чеки...

Убедившись, что барыня жива, невредима и даже не сильно лютует, Данила осмотрел место слома – и долго стоял остолбенелый, обнаружив явственные следы подпилов. Сделавший это даже не позаботился скрыть свою злокозненность! Мария, однако же, не очень удивилась: она ждала чего-то подобного после ночевки в Мон-Нуар; а вот Данила, тот совершенно ошалел – хватаясь то за одну, то за другую половинку сломанной чеки, он то и дело повторял:

– Ну пуркуа, пуркуа, черт меня задери?..

Здесь следует пояснить, что Данилу, дворового парикмахера, матушка дала среди прочих слуг Марии с собою, когда та уезжала из России. Куафер быстро привык носить французское платье разных цветов и резонерствовать по поводу и без повода, коверкая что свой родной, что чужой язык. Несмотря на привившуюся любовь к спорам, в душе Данила оставался тем же русским крепостным, что и прежде, так что нынешних безумствований французских, именуемых революцией, не принимал, а потому сейчас он плюхнулся Марии в ноги, как отцы и деды его дельвали, и заголосил по-старинному:

– Не вели казнить – вели миловать, Марья Валерьяновна! Завела меня сюда не злая моя воля, а чаробесие!

У Марии рука чесалась на старого куафера-кучера: зачем недосмотрел, зачем колеса не проверил?! – но без «чаробесия» тут и впрямь не обошлось, она и сама не сомневалась в этом. Поэтому, оттолкнув его носком туфли, она велела распрягать лошадей, чтобы седлать их к верховой езде.

– Верхом! По такой-то задухе?!¹ – закудахтал Данила. – А добро ваше, а сундуки? Неужто бросим?!

– Ты что, вовсе обезумел? Узлов навяжем, навьючим на свободных лошадей! – Мария сердито скинула с плеч шарф: жара и впрямь подступала жестокая.

Конечно, милое дело – дожидаться вечера, ехать по прохладе, но у марсельского причала нетерпеливо пританцовывает на зеленой волне «Сокол» – легкокрылый «Сокол», готовый улететь в родимую сторонку. Нет силы ждать до вечера!

¹ Жаре, духоте (старин.).

– Седлай, – повторила Мария и направилась к карете: кроме узлов, что предстояло навязать, следовало забрать еще кое-что тайное и очень важное не только для нее. И тут Данила громко ахнул. Мария обернулась. Облако пыли клубилось по дороге совсем невдалеке; раздавался стук копыт, возбужденные окрики – к ним приближались всадники.

Первой мыслью было, что весело несется навстречу кавалькада охотников-дворян, но то была иллюзия, воспоминания о минувшем, с которым тотчас же пришлось расстаться: за плечами одного из всадников развеялся трехцветный шарф офицера народной полиции.

– Приветствую тебя, гражданка! – весело закричал всадник, осадив коня.

Лицо офицера было лукавое, смуглое, волевое – лицо гасконца. Он окинул Марию взглядом, который польстил бы любой, самой привередливой красавице, но следующие слова его тотчас разрушили очарование:

– Вижу, тебя настигла беда в дороге, однако сочувствие выразить не могу: для нас это – большая подмога!

И тут Мария увидела его отряд. Кроме нескольких солдат национальной гвардии и крестьян, там были и двое знакомых; узнав эти лица, она в гневе затрепетала. Во-первых, кузнец из Мон-Нуар – его леностью и небрежностью путешественники вынужденно задержались в городишке на два дня – и злая красивая девка с полуобнаженной грудью и заткнутым за пояс пистолетом. Девка сидела верхом по-мужски, ветер, закидывавший вверх ее юбку, обнажал выше колен смуглые точеные ноги, на которых едва удерживались сабо – грубые башмаки из толстой кожи на деревянной подошве. Хотя выглядела она совсем иначе, чем вчера, Мария узнала ее тотчас: это была горничная из гостиницы «Добрый король», с завистливой ненавистью озиравшая платье богатой постоялицы!

Подымая пыль, кружили вокруг кони, теснили путников, так что перепуганный Данила вскричал на своем ужасном французском:

– Оставьте нас, господа, что вы, с ума сошли?!

Он не успел договорить: кузнец накинулся на него с веревкой; и девка тоже спорхнула с коня, угрожающе надвинулась: в глазах ее горела даже не ярость – чистое безумие! У Марии ослабли ноги, она покачнулась... Но тут кто-то стиснул ее локоть железными пальцами – и боль вернула силы. Яркие глаза офицера блеснули рядом; голос его зазвенел насмешливо:

– Угомонись, Манон! Ты сделала свое дело – теперь дай слово мне.

Девка возмущенно подалась к нему. От этого движения грудь ее вся выпрыгнула из корсажа. Данила и кузнец – оба замерли: один с вывернутыми за спину руками, другой – вцепившись в него. Голая девкина грудь, казалось, жила своей собственной жизнью, так она дышала и волновалась.

Гасконец только хохотнул, но не отпустил руку Марии и подтолкнул ее к карете:

– Позвольте побеседовать с вами наедине, мадам.

Просьбу это мало напоминало, но спасибо – он хоть перестал называть ее гражданкой! Мария ненавидела это слово, которое звучало теперь повсюду: в лачугах и во дворцах, в полях и на площадях.

Полумрак кареты, знакомые запахи бархата и духов вернули Марии самообладание. Она села, неторопливо разложила вокруг пышные складки платья и небрежно кивнула офицеру, который все еще стоял, полусогнувшись, – был слишком высок, чтобы распрямиться в этой тесной, уютной коробочке.

– Вы можете сесть, сударь.

– Вы так добры, баронесса, – сказал он с иронией в голосе.

Сердце Марии екнуло. В следующее мгновение она выхватила из шелковой сумочки свои дорожные бумаги и ткнула ими в лицо офицеру:

– Да, я баронесса Корф. И что же? Мои документы в порядке, на них подпись самого Монморена...

– Да, да, русский посол господин Симолин и наш министр иностранных дел оказались настолько легкомысленными, что поверили в вашу байку: мол, собираясь в дорогу, вы нечаянно, вместе с прочим мусором, сожгли только что полученные документы, согласно которым собирались ехать во Франкфурт с двумя детьми – какими? чьими, позвольте спросить? – а также с камердинером, слугами, горничной и еще бог весть с кем! Отчего же вы изменили свои планы и попросили новые документы – на выезд в Рим в сопровождении одного лишь слуги?

Только Симолин и Монморен знали о суете с документами, но лишь русский посол мог догадываться о том, что за всем этим кроется. Что же подозревает, о чем догадывается, что знает доподлинно этот офицер?

Мария была слишком упряма, чтобы сдаться без борьбы. Она заносчиво спросила:

– А какое вам дело, сударь, до того, почему женщина вдруг изменила свои намерения? Да, документы сгорели, вдобавок я сочла, что холодный воздух Франкфурта не пойдет мне на пользу, и предпочла теплый, итальянский.

Офицер глядел сочувственно, кивал понимающе:

– Да, о да, мадам. Клянусь, вы меня убедили, к тому же я снисходителен к женским причудам. Скажите только, что же нам теперь делать с двумя баронессами Корф?

Сердце Марии снова екнуло. Она с трудом перевела дух.

– Как... с двумя?

– Да так. С вами, баронессой Марией Корф, глаза темные, волосы русые, рост высокий, двадцать девять лет, – и еще с одной, по документам – тоже двадцать девять, а на деле – тридцать восемь. И волосы у нее седые, и при ней увалень-муж по фамилии Капет, который ехал под документами этого вымышленного камердинера. Плюс двое детей, верная подруга... – Он на секунду замолчал, глядя в ее побледневшее лицо. – Продолжать?

Мария едва заметно покачала головой. И вдруг, встрепенувшись, схватилась за последнюю соломинку:

– Вы сказали – седые волосы? Почему – седые? Тут какая-то ошибка!

Он помедлил с ответом, явно наслаждаясь ситуацией. Затем, чуть усмехнувшись, проговорил:

– Никакой ошибки, мадам. Волосы той, что ехала на север под вашим именем, волосы Марии... Марии-Антуанетты, которую французский народ справедливо прозвал австрийской волчицей, – волосы ее поседали за одну ночь: после возвращения из Варенна, где ее задержали.

Мария смотрела на него расширившимися глазами.

Все, конец. Вот теперь и впрямь – конец.

* * *

Варенн! Но ведь это совсем близко от Парижа! Почему же так скоро их схватили? Почему их вообще схватили? Что произошло, что не сработало в тщательно выверенном плане?!

Господи, как долго они готовились... Королева оказалась, как всегда, гораздо решительнее своего мужа. Людовик XVI никак не мог поверить, что его *bon peuple*² желает теперь лишь одного: низложения и смерти своего *Bon Roi*. Но устроить бегство королевской семьи – дело нелегкое, деликатное и опасное: следовало раздобыть деньги, фальшивые паспорта, карету, кучера, лошадей, охрану, провизию, нужно было договориться о подставах в дороге, вывезти монархов из Тюильри, доставить их к границе... Документами занималась Мария. Добыть их удалось без особого труда. Деньги раздобыли Жан-Аксель Ферзен, верный рыцарь несчаст-

² Добрый народ (*фр.*).

ной королевы, ее наперсница Элеонора Сюлливан и старая графиня Строилова, тетка Марии. Элеонора, кроме того, заказала у каретника Жана-Луи огромную берлину³, которая могла вместить и монархов, и свиту. Ферзен... Ферзен, казалось, был повсюду, принимал участие решительно во всем, и во время всех этих хлопот Мария впервые взглянула с уважением на красавца-шведа: да, любовь к королеве и впрямь – звезда путеводная его жизни! Когда все было готово, слажено, подогнано одно к другому, словно части хитроумного механизма, пришлось помедлить еще несколько недель, чтобы дожидаться отпуска одной из горничных Марии-Антуанетты, которой побаивались, подозревая в ней демократку. И вот три дня назад одна баронесса Корф со свитой и семейством выехала на север, направляясь во Франкфурт, другая, почти в то же время, – на юг. И... и что же случилось? По какой причине столь тщательно слаженный заговор провалился?

Мария сжала кулаки – ногти вонзились в ладони. Однако туман в глазах начал рассеиваться.

Так... Воистину, воля господа неисповедима, и что случилось – то уже случилось. Но она еще узнает, как это произошло и можно ли все исправить. Правда, узнает и исправит лишь в том случае, если будет иметь такую возможность. А для этого надо поскорее воротиться в Париж, а еще прежде – избавиться от вертопраха-полицейского, нагло развалившегося напротив и не спускающего с нее своих бесстыжих глаз.

Гасконец! Со времен Анри IV все рисуют себе гасконцев в радужных красках и не знают в том никаких сомнений. Однако этот офицер – последний человек в мире, которому поверит и доверится Мария!

– Да, – задумчиво проговорила она, – быстро же вы до меня добрались...

– Это времена такие нынче – быстрые, даже стремительные. К тому же – счастливая судьба! – Он сделал попытку галантно поклониться, но задел макушкой потолок кареты и остался сидеть. – Правда, на сей раз судьбе помог один бдительный гражданин, друг народа. Да вы его видели, наверное: кузнец из Мон-Нуар. У него возникли подозрения на ваш счет. Чтобы проверить их, он решил по мере сил и фантазии задержать вас в пути... а тут гонец из Парижа с известием о вареннском бегстве. Мы ринулись в погоню за вами – а вы нас уже здесь поджидаете!

Он явно издевался, но Мария и бровью не повела: что без этой мрачной твари, кузнеца, не обошлось, она уже давно поняла.

– Ну что же, гражданин, – ее передернуло от отвратительного вкуса этого слова, – вы прекрасно знаете: я – русская, я подданная ее величества российской императрицы Екатерины Алексеевны, – а значит, могу себе позволить убеждения иные, чем у вас и ваших кузнецов. Не вижу оснований задерживать меня, а тем более – ломать мою карету. Извольте следовать своим убеждениям, а мне предоставьте следовать своим – и своей дорожкой!

– Как бы не так!

Оба содрогнулись, точно при грохоте выстрела: злющая горничная, девка из Мон-Нуара, вскочила на подножку кареты и теперь стояла, пригнувшись, точно кошка, готовая к прыжку, осыпая обоих отборной бранью.

Что и говорить, в моде у дам того времени были резкие и даже грубые манеры, но эта девка выражалась уж вовсе по-площадному, то есть настолько грязно, что Мария невольно заслонила от нее ладонями.

А гасконец весело посмеивался, словно появление злобной девки было лишь удачным продолжением шутки:

³ Карета, предназначенная для дальних путешествий.

– Я был так увлечен беседой с тобою, гражданка, что не успел сообщить: именем французского народа мне предписано арестовать тебя!

– Арестовать?! – вскричала Мария – и ей эхом отозвалась девка:

– А-рес-то-вать?! Эту шлюху? Эту поганую аристо?⁴ – И, высунувшись из кареты, она завопила: – Вы слышали, друзья?! Он хочет арестовать пособницу австриячки! Нет, братья свободы, не допустим этого! Не допустим!

И Мария ахнуть не успела, как ее вырвали из рук офицера, вытолкнули из кареты и бросили на дорогу. Девка уселась на нее верхом, вцепилась в распустившиеся волосы и закричала:

– Клянусь, она не доедет до тюрьмы! В петлю ее! Повесить!

Словно темный туман окутал все вокруг – это был смрад немытых, разгоряченных тел.

– В петлю аристо! – раздавались дикие голоса. – Повесить ее, повесить!

– Опомнитесь, граждане! – вмешался наконец-то офицер. – У меня приказ Конвента. Это соучастница преступления, нам нужны ее показания...

Но в голосе офицера не было твердости, и мятежники не обратили никакого внимания на его слова, только девка, исступленно дергая Марию за волосы, выкрикнула:

– Показания?! На черта нужны ее показания, если булочник Капет⁵ уже схвачен? Ее место у тетушки Луизы⁶, но у той и так много поживы. Зачем ждать? Доставим себе удовольствие! В петлю ее! В петлю!

И снова на Марию накатила тьма, ударяя по глазам отдельными просверками: разинутые в крике рты, связанный Данила, неловко привалившийся к боку кареты, а в глазах его – ужас; озабоченное лицо гасконца – он пытается остановить толпу, но люди, опьяненные жаждой крови, спорят, кричат, беснуются; девка, задрав юбку, скачет перед офицером, виляя голыми бедрами, визжит, хохочет, слова сказать не дает; и вот уже все хохочут, и офицер тоже смеется и наконец-то, махнув рукой, грубо хватая девку, лапает, целует... Он согласился, он сдался – и отдал им Марию.

Они повесили бы ее сию же минуту, но оказалось, что в спешке не захватили с собой веревки.

* * *

Мария немало прожила во Франции и знала, что этому народу, как никакому другому, свойственна врожденная склонность к беспорядку. Погнались вот за беглянкой, желая непременно ее повесить, – да забыли о веревке. Однако это желание – повесить, непременно повесить! – настолько овладело их взбудораженным сознанием, что никто даже не вспомнил о пистолетах, из которых можно застрелить пособницу австриячки.

Словом, судьба подарила отсрочку: сгонять за веревкой в Мон-Нуар вызвалась девка (ее по иронии все той же насмешницы-судьбы звали Манон⁷), а без нее, словно она была тем кресалом, которое распяляло мужчин, они сделались посмирнее и, оставив в покое пленников, с упоением принялись грабить карету.

Вытащили сундуки, корзины, содрали бархатную и шелковистую обивку... Мария с Данилой встревоженно переглядывались. Разумеется, не о багаже были их тревоги, но пока, к счастью, никто из грабителей не орал истошно и торжествующе, не выскакивал на дорогу,

⁴ Пренебрежительное прозвище дворян, аристократов.

⁵ Пренебрежительное прозвище короля Людовика XVI, данное черню во время революции.

⁶ «Луизой» парижане называли гильотину – по имени ее изобретателя хирурга Луи Гильотена.

⁷ У французов уменьшительное от имени Мари, Мария.

прижав к груди заветную шкатулку. Наконец из разоренной кареты вылез последний крестьянин с пустыми руками и недовольным лицом. Главного так и не нашли.

Корзины с припасами тотчас распаковали и невдалеке, на полянке, устроили пирушку. Мария и Данила снова переглянулись. Ну, если не теперь, то уж и никогда! Прикусив губу до крови, Мария сумела-таки вызвать на глаза подобие слезинок и закричала как могла жалобнее:

– Господин офицер! Во имя неба, выслушайте меня!

Офицер тоже направлялся к раскинутым скатертям. Досадливо оглянувшись на Марию, он процедил сквозь зубы:

– Я ничего не могу сделать для вас, баронесса. Молитесь – пусть бог дарует вам последнее утешение.

– О том я и прошу! – вскричала Мария. – Позвольте мне помолиться, как того требует моя вера! Мы, русские, – православные, и наше последнее обращение к богу требует уединения и полумрака. Позвольте мне войти в карету, собраться с мыслями, вверить господу душу мою...

В глазах гасконца вспыхнуло любопытство:

– Да, я что-то такое слышал. Вы, русские, – прямые потомки монголов и до сих пор остались идолопоклонниками. – Он задумчиво оглядел Марию. – Ну что ж, эту последнюю малость я могу вам позволить.

Офицер судорожно сглотнул, рывком поднял Марию и втолкнул ее в карету.

– Молитесь, – сказал он. – Молитесь, баронесса! – И прикрыл за нею повисшую на одной петле дверцу; шелковые шторы были сорваны, однако кожаная обтяжка пока осталась нетронутой.

Мария рухнула на колени, шепнула, зная, что Данила ее слышит: «Уповай на господи!» – и с трепетом воззрилась на пол. Оказалось, что грабители облегчили ей задачу – иначе как со связанными руками отодрать обшивку, чтобы обнажить доски? А теперь ясно видна заветная планочка – чуть темнее других. Мария нажала на нее, чуть повела вперед – и в полутьме, пропахшей потными мужскими телами, потянуло легким, сладковатым дуновением из открывшегося тайника.

Какое счастье, что кинжал она положила сверху: обе руки не пролезли бы в узкую щель. Теперь же оставалось лишь подцепить его пальцами и укрепить в щели стоймя, чтобы перерезать веревку. Это оказалось легче задумать, чем осуществить, а время, чудилось, летит со свистом мимо, обжигая лицо!.. Но едва с рук Марии упала последняя петля, как что-то зашевелилось сзади.

Мария резко обернулась – так что волосы закрыли глаза. Сдула их нетерпеливо, но все равно – какой-то миг смотрела слепо, ничего не видя от ужаса. И даже не взором – всей похолодевшей кожей узнала: кузнец!

Сейчас он был совсем другой, чем возле кареты, когда кричал вместе со всеми: «Повесить! Повесить!», – это Мария почуяла мгновенно. Так два зверя, сойдясь на узкой тропе, сразу чуют слабое место противника, и если осторожный хочет жить, он уходит. Но сейчас вся мрачная сила кузнеца осела в его чресла, и эта похоть была его слабостью. Он даже тайника не заметил! Одежда его была с готовностью раскрыта, и, увидев то, что предстало глазам ее, Мария с трудом подавила позывы тошноты.

– Какая наглость! – прошипела она, и эти слова на миг замедлили порыв насильника; Мария же поудобнее перехватила кинжал и повернулась.

Выражение тупого изумления и обиды, появившееся на лице кузнеца, едва не заставило ее расхохотаться, а ледяное, привычное прикосновение стали к ладони тотчас вернуло ей самообладание.

– Ну что? Желаете скрестить оружие? – прошептала она насмешливо, поигрывая кинжалом и глядя на кузнеца, чей боевой меч, только что бывший, так сказать, на изготовку, вдруг

неудержимо начал опускаться; теперь от смеха просто невозможно было удержаться, так что Мария едва не пропустила мгновение, когда кузнец разинул рот, собираясь окликнуть сотоварищей.

В тесноте кареты метать кинжал было неудобно, и все же Мария попыталась. И тотчас с бульканьем хлынула кровь из горла кузнеца, и Мария, одолев отвращение, с силой дернула его за руку, чтобы он упал в карету, а не вывалился наружу. Вот был бы сюрприз его сообщникам!

Брезгливо отерев кинжал о рубаху кузнеца, Мария поднесла острие к груди – и одним махом распоролла себе платье до пояса. Брат когда-то рассказывал ей, что гусар должен в две минуты одеться, оседлать лошадь и открыть огонь. Седлать и стрелять пора еще не настала, но Мария мгновенно содрала с себя платье и облачилась в крестьянскую рубашку и юбку с высоким корсажем, также запрятанные в тайник. Грудь свободно заколыхалась – крестьянки ведь не носят корсетов, – и Мария потуже стянула рубаху у горла. Перекрестилась – и осторожно выбралась на волю.

Веселая компания все еще пиновала, и Мария, лежа за каретой, ухитрилась разрезать Даниловы путы. Его скрутили, при этом изрядно помяв, но вся боль враз забылась, когда он увидел, какая же забота так задержала его госпожу. Крови из кузнеца набежало уже море, и Мария поскорее вытащила из тайника шкатулку, заботливо отерев с нее несколько темно-красных капель.

– Боже, во имя твое, спаси! – пробормотал Данила, перекрестившись. Затем схватил барыню за руку: – Бежим, бежим, скорее!

– погоди. Куда в ливрее? Тебе нужна другая одежда. А вот и она идет!

«Она» приближалась к ним на плечах крестьянина, ноги которого заплетались от выпитого; он шел к карете, сопровождая чуть более трезвого офицера: тот, видно, счел, что времени вручить богу свою душу у пленницы было предостаточно. А может, в опьяненном мозгу зародились те же намерения, что и у кузнеца: мол, богу – богово, а тело – мне...

Данила вновь затаился в углу, изготавившись разобраться с простолюдином, а Мария зашла с другой стороны. Выждав, когда офицер сунулся в карету и остолбенел, увидев вместо плачущей женщины окровавленный труп кузнеца, она поймала его за руку и дернула с такой силой, что тот, влетев в карету, растянулся на полу – с кинжалом, приставленным к горлу. К тому же Мария успела выхватить оба его пистолета; один сунула за пояс, как носила Манон, а на другом, заряженном, взвела курок.

Теперь гасконец находился в весьма незавидном положении, но лицо его вновь приняло насмешливое выражение.

– Признаюсь, чего-то в этом роде я все время ожидал, сударыня. Хотя женщина умная и умеющая пользоваться своим умом – большая редкость. А вам вдобавок и силы не занимать. Кто бы мог подумать, глядя на ваши шелка! – пробормотал он, кося взглядом в вырез рубахи Марии. – И должен сознаться, что сей наряд вам очень к лицу...

– Ничтожество, – прошипела Мария.

– Черт побери! – пробормотал офицер, словно бы только сейчас осознал, что же произошло. – Да с меня шкуру заживо сдерут в трибунале, гражданин, если я вас упущу!

– Не успеют, уверяю вас, – усмехнулась Мария, наслаждаясь своей властью над ним.

– Вы меня убьете? – Голос офицера был спокоен, но в глазах вдруг словно погасло что-то. – О, как вы мстительны, прекрасная дама! *La belle dame sans merci!*⁸ – Он нервически хихикнул. – Так уж делайте скорее свое дело: вот-вот воротится Манон – и мои санкюлоты снова возбудятся от запаха ее юбок.

Мария брезгливо поморщилась.

⁸ Беспощадная, прекрасная дама – персонаж французской рыцарской поэзии.

– Эта девка еще свое получит! – пригрозила она – и твердо знала в этот миг: все сбудется по ее! – Но вам я вот что скажу на прощание, граж-да-нин... Я была совсем еще девчонкой, когда поняла: ужасен и отвратителен слепой и несправедный народный гнев, но это гнев детей или животных, стада... и народ всегда достоин прощения. Не заслуживает же его, вдвойне, втройне мерзок и отвратителен дворянин, который продает честь своего сословия за право жить – и пляшет перед диким стадом, забавляя его своим бесчестьем!

Лицо его сделалось бело, как бумага, глаза горели, а нужные слова, очевидно, не шли на ум – слишком крепка оказалась пощечина, и Мария подумала было: «Как истый гасконец, он не простит мне всю жизнь, что не сумел ответить!» Потом вспомнила, что пришел его час умирать, и захотела дать ему последнюю возможность найти ответ, – но он сам рванулся вперед, наткнувшись на кинжал. Острие скользнуло по ключице, пропороло рубаху и вонзилось в горло. Мария замерла, вдруг до боли в сердце пожелав вернуть его к жизни, а он выдохнул:

– Не в силах противостоять ва-ам... – И кровь забулькала в его горле, но улыбка не растаяла: успел-таки оставить за собой последнее слово!

– Гасконец, что с него возьмешь? – проворчал рядом Данила.

– Как ты сказал? – вся дрожа, обернулась Мария.

Кучер понял: госпожа сейчас не в себе. Он крепко взял ее под руку.

– Помните, как у нас говорят: «Нижегород – либо вор, либо мот, либо пьяница, либо жена гулявица!» А здесь сказывают: однажды гасконец попался черту на зубок, и тот предложил выбирать: либо языка лишиться, либо бабьей радости, а не то – и вовсе жизни. Ухарь наш таково-то долго выбирал, что черт плюнул с тоски – да и провалился обратно в свое пекло. С тех пор они и остались бабники да острословы, гасконцы те!

Нижегородская, родимая скороговорка немного успокоила Марию, пропала дрожь, и она смогла стоять сама.

– Седлай, не медли. Чего в самом деле ждем – пока та курва Манон воротится или эти олухи набегут? – выговорила она хрипло. – Да кинжал возьми, слышишь?

Убивать невозможно привыкнуть, даже если не в первый раз, даже если защищаешь свою жизнь. К тому же эта смерть, она была совсем иной, чем смерть насильника-кузнеца.

Раздался протяжный, влажный вздох: Данила подвел коня, взялся за стремя.

– Садитесь. Тем-то упырям, пока суд да дело, я ремни под седлами порезал. Да они уже и так лыка не вяжут от барских вин! – В голосе Данилы звучала обида слуги за господское добро, и Мария невольно усмехнулась.

Они довели коней до зарослей тамариска – и только тогда сели верхом.

– А теперь, Данила, гони! – велела Мария.

– В Марсель прикажете? – спросил куафер-кучер.

– В Париж! – крикнула Мария, хлестнув коня поводьями, так что он с места взял рысью. – Возвращаемся в Париж!

– Эх, с ветерком, родимые! – завопил Данила, и дорога послушно легла под копыта.

Мария пригнулась к шее коня. Ветер бил в глаза. Но не ветер мешал ей смотреть вперед. Не в Париж возвращалась она сейчас – в прошлое.

1. Скоробежка

Маше Строиловой не исполнилось еще и двенадцати, когда пожар пугачевщины опалил нижегородские земли. Это было в июле 1774 года, но еще с прошлой осени из Поволжья и с Урала долетали слухи один страшнее другого, слухи о самозванце, назвавшем себя царем Петром III Федоровичем – крестьянским царем, который у помещиков отнимает крепостных, дает им волю, а господ казнит за их издевательства над народом. Слухи эти не повторял только ленивый!

Отец то и дело наезжал в Нижний, где губернатор Ступишин собирал дворян для совета, и возвращался раз от разу все мрачнее; но от детей самое страшное старались утаить. Однако чего недоговаривали отец с матерью или Татьяна с Вайдою⁹ – эти старые цыгане весь дом держали в ежовых рукавицах! – о том Машенька с Алешей узнавали на кухне, в людской, в девичьей. А здесь, понятно, судачили только лишь о победах мятежников, смакуя подробности их жестокосердия к поверженным врагам. На всю жизнь запомнила Маша судьбу защитников Татищевской крепости, которую Пугачев захватил лишь после троекратно отбитого штурма, воспользовавшись пожаром. Офицеров, после жестоких пыток, кого перевешали, кому отрубили головы. С полковника Елагина, командующего гарнизоном крепости, человека тучного, содрали кожу; вырезав из него сало, злодеи мазали им свои раны. Жена Елагина была изрублена. В то время в крепости оказалась и дочь Елагиных. Мужа ее, коменданта Ниже-Озерной крепости, храброго секунд-майора Харлова, самозванец казнил незадолго до того. Вдова славилась удивительной красотой – и вся эта красота пошла в добычу злодею: более месяца он держал у себя молодую женщину как наложницу, а семилетнего брата ее назначил своим камер-пажом. Низкие душонки, окружавшие Пугачева, во всяком, даже редчайшем, порыве доброты его видели измену; уступая их требованиям, самозванец приказал расстрелять несчастную красавицу и ее брата. После ружейного залпа, еще живые, они, истекая кровью, добрались друг до друга и, обнявшись, испустили дух...

В тот вечер к Маше пришла догадка: если чьи-то Глашки и Петьки, крепостные и дворовые, радостно предают своих господ смерти и присягают злодею, то подобное может случиться со строиловской дворней и крестьянами. Она зашлась таким ужасным криком, что в людской содеялся превеликий переполах. Сбежались матушка, Татьяна; девочку чуть не в беспамятстве уложили в постель. Вайда учинил дознание и, поскольку дворня всегда рада доносительствовать, вскорости вызнал, что именно явилось причиною припадка барышни, а стало быть, тем же вечером виновные отведали добрых плетей.

Такие неприятные обязанности в отсутствие хозяина всегда ложились на плечи Вайды, ибо у княгини характер был мягкий, а у Елизара Ильича, управляющего, – мягче втрое. Отец (собственно, был он Маше отчимом – ее родной отец, граф Валерьян Строилов, вместе с любовницей пал когда-то жертвой собственной лютости, от которой много страданий приняла его жена, Машина мать. Впоследствии, после многих тягот и страданий, она вышла за давно любимого ею князя Алексея Михайловича Измайлова, и он никогда никакого различия между Машенькой и своим родным сыном Алешей не делал, хоть падчерица его и оставалась графиней Строиловой, а сын – будущим князем Измайловым) – итак, отец каждый поступок Вайды одобрял, но на сей раз, о порке узнавши, брови свел то ли задумчиво, то ли осердясь. В нынешнюю сомнительную пору, когда началось немалое бегство нижегородцев в повстанческую армию Пугачева, кое-кто из бар ужесточился с крестьянами, кое-кто, напротив, нрав укротил: иные едва ли не заискивали перед теми же, кого вчера драли на конюшне и продавали с торгов. Алексей же Михайлович полагал, что вести себя следует с достоинством, но и с

⁹ Персонажи предыдущих романов Е. Арсеньевой.

осторожностью: по несомненным сведениям, Пугачев рассчитывал пополнить свои отряды за счет нижегородских крестьян; к тому же через Нижний проходил прямой путь в центр страны, прежде всего – на Москву, а это не могло не привлечь мятежника. Манила самозванца также губернаторская казна, хранившаяся в Нижнем.

Любавино – наследственное имение Строиловых – находилось невдалеке от Нижнего, в центре губернии, и хотя Измайлов не очень любил его, памятуя, сколько страданий пришлось принять его жене в этом прекрасном доме, стоявшем на высоком волжском берегу, однако он понимал, что в такое ненадежное время семье в Любавине – вполне безопасно: чтобы до него добраться, пугачевцам надо пройти почти всю губернию; к тому же Любавино от торных путей в стороне. Поэтому князь не очень-то уговаривал жену отъехать в его Ново-Измайловку, что близ Починок. Однако внезапное известие поломало все расчеты: старый князь Измайлов прислал верхового сообщить, что княгиня Рязанова рожает. Княгиня Рязанова – то есть Лисонька.

Лисонька была родной сестрою Алексея Измайлова и названной сестрою жены его, княгини Елизаветы, еще с той поры, когда в мрачном доме на Елагиной горе подрастали две девочки: Лизонька и Лисонька. Мать Елизаветы, Неонила Елагина, сохраняла в тайне родство с ней; из мести к своему давнему возлюбленному, Михаилу Измайлову, завязала она судьбы девочек таким крепким узлом, что понадобилось почти пять лет, дабы узел этот распутать и все загадки разгадать. Связь Елизаветы и Алексея с Лисонькой была куда крепче, нежели родственная, а потому известие о ее страданиях не могло оставить их равнодушными. Десять лет назад Лисонька разрешилась мертворожденным младенцем, и с той поры детей у нее больше не было, к вящей печали ее мужа. И вот теперь... Невозможно было усидеть в Любавине при такой судьбоносной новости, а потому князь Алексей ни словом не поперечился, когда жена его тоже решилась ехать. Лисонька всегда желала видеть крестной своего ребенка любимую племянницу – пришлось взять в дорогу Машеньку. Обычно сговорчивый Алешка-меньшой такой крик поднял, узнав, что к деду отправляются без него, что родители сдались почти без боя. Так что компания собралась немалая: князь с княгиней, двое детей да неотвязные Вайда с Татьяною. В Любавине был оставлен управляющий.

* * *

Отец ехал верхом, Вайда – на козлах, за кучера, остальные – в карете; и Маша удивлялась, почему с ними сидела матушка, которая была лихой наездницей, в каретах ездивала только на балы, когда жили в городе, или с торжественными визитами. Сегодня же ее оседланная лошадка плелась, привязанная к задку кареты, глотая пыль, а княгиня Елизавета забилась в уголок, обняв обоих детей, – притихшая и не очень веселая, да поглядывала в окошко на статую фигуру мужа, следила за игривой побегой его коня.

– Стойте! – Окрик князя прогнал Машину дрему.

Вайда натянул вожжи, матушка выпрыгнула из катившейся еще кареты и, подхватив юбки, побежала по знойной луговине к мужу, который стоял на коленях у обочины.

Дети тоже повыскакивали, как ни удерживала их Татьяна, и Маша увидела, что отец быстро поднялся, обнял матушку и на мгновение прижал к себе, словно успокаивая, а потом они вместе склонились над чем-то, напоминающим ворох цветастого тряпья. И еще прежде чем Маша разглядела, что это – человек, залитый кровью, она поняла: вот надвинулось, свершилось то, что изменит всю их жизнь!

В те поры русские бары, живущие в отдаленных имениях, держали у себя скоробежек, иначе говоря, скороходов, курьеров. Одевали их в легкие куртки с цветными яркими лентами на обшлагах; на головах же у них красовались шапочки с разноцветными перьями: такое яркое,

стремительно продвигавшееся пятно можно было частенько увидеть на обочине дороги, а то и на пешеходной тропке. Лошади имелись в достатке не у всех помещиков – да и стояли дорого, а скоробежек кормили легко – вернее, держали впроголодь, чтобы резвее бегали. Господа использовали их как почталыонов и гонцов, отправляя с разными поручениями в соседние усадьбы.

Один такой скоробежка и лежал сейчас в траве, и его нарядная курточка была сплошь залита кровью из разрубленного плеча – удар сабли почти отделил руку от туловища.

– С коня рубанули, – определил Вайда.

Князь кивнул. Их, бывалых вояк, не смущал вид крови, да и Елизавета многое повидала в жизни. Но тут вдруг все заметили, что дети рядом. Татьяна, запыхавшись, подбежала, молча схватила их за руки и повлекла к карете; но Маша с Алешей уперлись; Алешка даже повалился на траву, вырываясь из Татьянинных сильных рук, – тоже молчком, не издавая ни звука.

– Оставь их, – тихо молвила матушка. – Что ж теперь...

Все принялись креститься, только князь задумчиво смотрел на мертвого; потом вдруг наклонился, сунул руку под его окровавленную куртку и вытащил – Маше показалось, какой-то лоскут, пропитанный кровью, но то была четвертушка – ни слова, ни буквы не прочесть!

– Это батюшкин скоробежка! – воскликнул князь Алексей. – Цвета его ливрей. Как это я сразу не догадался? А вот и письмо, что он нес. Батюшка его послал... куда? к кому? – Он настороженно осмотрелся. – Уж не нас ли велел перехватить в дороге? Не зря же бедняга бежал по обочине.

– Ну что ты, друг мой, – возразила Елизавета, – ежели что спешное, батюшка бы верхового к нам послал!

– Так-то оно так, – задумчиво кивнул отец, – а все ж куда-то поспешал этот несчастный.

– Дозвольте слово молвить, – вмешался Вайда. – Иной раз пеший скорее конного до места доберется, потому как в степи ему схорониться легче: упал за куст – опасность и пронеслась мимо.

– Однако ж он не схоронился. Да и таким фазаном разоделся, разве что слепой его в зеленях не приметит, – возразил князь.

Его задумчивый взгляд словно бы летел над лугом – и вдруг остановился, сделался пристальным и цепким. Голубые глаза сощурились, худое лицо посуровело.

Все разом обернулись.

Поодаль в просторную луговину мыском вдавалась дубовая рощица, и сейчас из нее выехала ватага верховых.

Даже на расстоянии было видно, что это не регулярный отряд, а и впрямь ватага: одеты с бору по сосенке, вооружены кто чем, вдобавок нестройно горланили песню, перемежая ее криками и хохотом.

Вдруг один из всадников вскинул руку – ватага замерла, вперившись в карету, а затем со свистом и улюлюканьем ринулась вперед.

Но князь спохватился на мгновение раньше. Одной рукой он подхватил сына, другой тащил Машу. Вайда увлекал за собою женщин.

Отец забросил детей в карету, выхватил из-под сиденья шкатулку с заряженными пистолетами и сунул их за пояс, к которому – Маша и не заметила, как и когда, – уже успел пристегнуть саблю.

– Алексей!.. – отчаянно выкрикнула Елизавета, хватаясь за его стремя; князь уже сидел в седле, но на миг склонился, притянул к себе жену – и тотчас опустил ее на землю; и конь его понесся по полю навстречу всадникам.

– Вайда, я их задержу, а ты к батюшке всех в целости доставь! – донесся до них голос князя, потонувший в Алешкином отчаянном реве.

Но суровый Вайда, сунувшись в карету, бесцеремонно отвесил княжичу оплеуху – и тот смолк, словно подавился от изумления.

– Вайда!.. – простонала Елизавета, заламывая руки.

Единственный глаз старого цыгана блеснул в ответ:

– Ништо, милая! Сам знаю!

В одно мгновение он вытащил из-под кучерского сиденья еще два пистолета и саблю, отвязал запасную лошадку, вскочил в седло, успев еще приобнять и Татьяну, и Елизавету. Потом крикнул:

– Гоните что есть мочи! – и, ударив лошадь каблуками, припал к гриве, летя вслед князю.

Дети переглянулись. Все произошло так быстро, что они даже испугаться толком не успели.

В карету заглянула матушка – в ее серых глазах мерцали непролитые слезы, – торопливо перекрестила детей и велела:

– Крепче держитесь!

Потом захлопнула дверцу и вскочила на козлы, где уже теребила вожжи Татьяна.

– Ну какой из Татьяны кучер, – пренебрежительно сказал Алешка, вмиг забывший о слезах. – Дали бы мне – я бы показал...

Его прервал пронзительный свист... нет, не свист даже, а некий звук, в коем слились воедино и свист, и вой, и улюлюканье – дикий, истошный звук! Кони тотчас рванули с места, рванули так, что дети повалились на пол.

Маша подхватила брата – не ушибся ли? – но он только хохотал, закатывался.

– Вот тебе, – усмехнулась и она, – а ты говорил, не сможет, мол, Татьяна.

Алешка выскользнул из ее объятий и высунулся из окна, но тут же повернул к сестре ошалелое от восторга лицо:

– Я же говорил! Я же говорил! Это не Татьяна, а матушка!

Маша, едва удерживаясь на ногах – карету на ухабистой дороге швыряло из стороны в сторону, будто лодчонку в бурном море, – тоже высунулась. Глянула – и не поверила своим глазам: княгиня Елизавета правила стоя, русая коса ее летела по ветру, юбки надулись парусом... Татьяна, полулежа-полусидя, цепко держала ее за талию, не давая упасть. А княгиня все нахлестывала лошадей, но пуще кнута погонял их, точно сводил с ума, этот ее пронзительный клич, так что кони летели, как на крыльях.

Маша высунулась из окошка сколько могла далеко – глядела назад, но дорога уже повернула, и она не увидела ни отца, ни Вайды – только широкий луг, по которому ветер гнал мелкие желто-зеленые волны.

2. Измена

Скоробежка и впрямь принадлежал старому князю Измайлову, и впрямь был им послан навстречу сыну, а в письме, которое невозможно было прочесть, содержался наказ немедленно возвращаться и ни в коем случае не приезжать в Ново-Измайловку: в округе уже пошаливали мятежники. Михайла Иваныч дал письмо своему самому быстроногому гонцу, наказав одеться по-крестьянски, чтобы не бросаться в глаза лихому человеку (он тоже рассудил, что пешему затаиться, в случае чего, проще), но не учел тщеславия этого паренька, лишь недавно взятого от сохи в барскую усадьбу: тот просто-напросто не нашел в себе сил расстаться с нарядной, многоцветной одеждою, из-за того и расстался с жизнью. И как всегда бывает – ничтожная причина породила множество трагических последствий.

Но все это еще впереди, неразлично, а пока что перепуганные, измученные тряской княгиня Елизавета с детьми и Татьяна, уже умытые и поевшие с дороги, сидели в гостиной ново-измайловского дома и пили чай, который разливал сам старый князь. Лисонька благополучно разрешилась сыном, однако сейчас она спала, и будить ее опасались: роды, настигшие ее не дома, в Рязановке, а в отцовской усадьбе, прошли тяжело; вдобавок муж ее, князь Павел Рязанов, еще третьего дня отправился в свое имение, которое, по слухам, захватили пугачевцы, – и как в воду канул. Сказать Лисоньке, что он еще не вернулся, опасались... Узнав об этом, княгиня Елизавета едва нашла силы сдержать слезы: участь Алексея и Вайды тоже оставалась неведомой! Но хоть гостеванье начиналось невесело, все же старый князь не скрывал радости видеть любимую невестку и внуков.

Михайла Иваныч был видный старик, статный, подтянутый. Отблески горевших свечей играли на его худощавом, словно из камня выточенном лице, а голос был по-молодому звучен и грозен:

– Здесь тоже с зимы случались подсылы – изменники с грамотками своими. Но у меня расправа короткая: запрещено даже имя супостата произносить, а тем паче – вести о нем передавать! С недавних пор появился тут лиходея из приближенных Пугачева, Аристов, а зовут – Илья. Разврат несет повсеместный, велеречив и краснобай. Подлейшая душонка! Сам из костромских мелкопоместных дворянчиков, а поди ж ты – за неуказанное винокурение был разжалован в солдаты, бежал, скрывался от властей, пока не приبلудился к самозванцу. Проврал свое сословие! Теперь в чести у Пугачева. Тот как стал в Сундыре, послал этого прохвоста с семисотным отрядом для заготовки продовольствия и фуража, а он – вон куда подался пограбить! Манят его императорские конезаводы в Починках. Жжет, убивает, грабит, насильничает над имущими людьми почем зря! Страх навел такой, что мужики и впрямь поверили, будто господская власть закончилась. Что делают подлецы! На заставы, в отряды охранительные, не идут. От принуждения ударяются в бега, узилища отворяют схваченным воровским лазутчикам. Ну, коли мне такого злодея приводят, у меня расправа короткая: плетью бить до полусмерти, а что останется живу – под конвоем в город.

Князь резко, крест-накрест, рубанул ладонью воздух, и Маша, испуганно сморгнув, успела заметить, как матушка с Татьяною, сидевшей в дальнем углу, быстро переглянулись.

Наслышанная семейных историй, Маша знала, откуда на смуглом лице Татьяны взялись два розовых, неисцелимых шрама: когда-то хлыст обезумевшего от горя князя рассек лицо цыганки, в которой он подозревал убийцу своей дочери. Тот же хлыст выбил глаз Вайде... Много воды утекло с тех пор, что-то забылось, что-то простилось; Татьяна о былом не вспоминала. Измайлов принял «барскую барыню»¹⁰ своей снохи со всей возможной приветливостью,

¹⁰ Так называли в старину приближенную к госпоже служанку, доверенное лицо и любимицу барыни, ездившую с ней в

а все же в этот миг Маша почувствовала: точно какая-то искра вспыхнула между старым князем и цыганкою – искра незабытого, многолетнего горя...

Князь, почуяв общую неловкость, вдруг круто поворотил разговор, приобняв за плечи внуков:

– А вы что притихли, мои милые? Запугал я вас своими рассказами? Ништо! Бог всемогущ – и за нас, случись что, заступится. Будем же молиться – беда и минет нас. Посмотрите-ка лучше на мой мундир.

Маша с Алешей посмотрели – мундир как мундир, петровской еще поры, потертый, но вполне крепкий.

– Видали? Как новенький! – выпятил грудь старый князь. – А ведь его еще дед мой нашивал! Вся штука в том, что он пошит из особенного сукна, вытканного по дедову заказу из шерсти одной рыбы, которую он сам поймал в Каспийском море.

Доверчивый Алешка вытаращил было глаза, готовый слушать дедовы байки, но тут в комнату прошаркал старый-престарый дядька Никитич и шепнул князю на ухо нечто такое, от чего тот вскочил:

– Аристов?!

Елизавета зажмурилась, Татьяна в своем углу встрепенулась, а дети в испуге схватили друг дружку за руки.

Аристов? Тот самый страшный злодей, пугачевец? Аристов уже здесь?

Однако вместо чернобородого громилы в красной рубахе – косая сажень в плечах, на острую саблю насажена отрубленная человеческая голова, ручки по локоть в крови (так вообразился детям Аристов) – дядька Никитич втолкнул в покои невысокого худощавого мальчишку и плотно затворил двери.

Повинуясь взгляду князя, слуга засветил еще три шандала, и в ярком свете все увидели, что пришедший зеленоглаз, рыжеволос и, несмотря на смышенное, даже хитроватое лицо, лет ему – не более двенадцати!

Крепко сжимая в руке трех, мальчишка поклонился князю и княгине. На Машу с Алешкой глянул мельком, словно они не заслуживали его почтения. Татьяну же будто и вовсе не заметил.

Алешка побагровел от возмущения, напыжился, но теперь уже сестра стиснула его руку, успокаивая; а сама наблюдала за лицами взрослых, смотреть на которые сейчас было очень любопытно.

Никитич глаза закатил, словно ужасался чему-то. Матушка удивленно подняла брови, но тут же прижала ладонь к губам, скрывая усмешку. Князь смотрел пренебрежительно, а у Татьяны... у Татьяны было такое лицо, словно она увидела привидение! Она отвернулась и торопливо перекрестилась; потом сделала пальцами загадочный ворожейный знак. Маша знала, что это цыганский оберег против злой силы – столь могучий и секретный, что Татьяна почти не пользовалась им, дабы «от одной беды уберечьшись, не назвать другой», как объяснила она однажды Маше, строго-настрого запретив повторять это движение.

– Ну-ну? – спросил, наконец, князь незваного гостя. – И кто же ты есть таков?

– Гринька! – ответил тот – и Татьяна вновь вздрогнула.

Да что ж это за мальчишка такой, чем он напугал старую цыганку?!

Незнакомец молчал, но в этом молчании не было почтительного ожидания слуги, – он молчал нарочно, желая подогреть интерес к себе, но подогрел до крайности лишь общее раздражение. Никитич, приметив, как встопорщились на переносице седые брови князя, сильным тычком сшиб наглеца на пол, на колени, а сам пояснил с поклоном:

– Это мальчишка Акульки, что на краю деревни живет. Дареная вам была господином Куролесовым вместе с двумя борзыми на день вашего ангела. Давно уж, за десяток лет, – вы небось и запамятовали. Дарена была как искусная белошвейка. Но стала баба к водочке потягиваться – вы ее и согнали со двора. Жила она со вдовцом Семеном Ушаковым, а как тот упокоился, мирскою табакеркою споделялась. – Никита смущенно улыбнулся. – У каждого свой промысел! Парнишка же сын не ее, а сестры умершей – она не ваша была, беглая, – а от кого прижит, Акулька и сама не ведает, а может, просто помалкивает, скрывает.

– Акулька Ульки не хуже, – вдруг сказала Татьяна, и все недоумевающе оглянулись на нее: при чем тут эта поговорка?

Князь пожал плечами:

– Да мне что за печаль, под каким кустом мальца сработали и чем та Акулька промышляет? Пусть лучше объяснит – зачем говорил про Аристов? Иль заявился сюда глумиться надо мной?!

Старческая, сухая, но вполне еще крепкая рука Никитича не давала Гриньке шевельнуть прижатой к полу головой, так что снизу доносилось лишь невнятное бормотание; Никитич же, взявший на себя роль толмача, пересказывал с его слов:

– Акулька сия ходила по малину и в лесу повстречала мужика – ладного, одетого как барин, сказавшего ей, что он – первейший друг и посланник крестьянского царя Петра Федоровича III – тьфу, прости меня, господи! – а имя его Илья Степанов сын Аристов. Акульке тот мужик приглянулся, она ему – тож, и вот уже какую ночь он к ней похаживает, между делом про крестьянские недовольства выведывает да про барские запасы оружия выпрашивает.

– Так, – кивнул князь. – Ну а нашему Гриньке тот ухарь чем не пришелся по нраву? Чем перед ним провинился, что он с доносом на теткина любовника прибежал?

Гринька пробурчал что-то злобное, а Никитич растолковал:

– Дескать, хотел мальчишка ружье Аристов разглядеть, а тот его вздул крепко. Ну и не стерпел парнишка обиды...

– Месть, значит, – задумчиво проговорил князь, глядя в темное окно.

Из угла, где недвижно сидела Татьяна, донесся прерывистый вздох. Князь вскочил и, отстранив Никитича, вздернул мальчишку на ноги.

– Вести ты мне принес заманчивые, – сказал он, комкая у Гриньки на груди его затасканную рубаху-голошейку и сурово глядя в покрасневшее от натуги лицо мальчишки. – Сейчас толком объяснишь мне, когда Аристов к Акульке приходит, как, которою дорогою. Сегодня ночью я сам туда пойду... Молчать! – грозно оборвал он единый возглас Никитича и Елизаветы. – Молчать, говорю вам! Ты, Никитич, собери десяток из охраны – самых толковых и надежных. Чтоб оружие досмотрели, чтоб без осечек! К утру воротимся, повязав злодея, дабы не сеял смуту.

– Батюшка! Зачем?! – бросилась к нему Елизавета.

– Ближний к Пугачеву человек – хорошая добыча. По слухам, он верных своих бережет, не бросает пленных, норовит сменять. Мало ли на кого этого Аристов обменять при случае можно!

Князь многозначительно повел глазами, и Маша поняла: дед имеет в виду пропавшего князя Рязанова, мужа Лисоньки. Но у Елизаветы вдруг задрожали губы, она прижала их ладонью, отошла, вся поникнув, – думала о своем муже, Алексее Измайлове, который, спасая семью, ринулся безоглядно в сечу – и нет о нем ни слуху ни духу, а посланный князем к месту стычки отряд тоже еще не воротился...

Князь поглядел на нее печально, покачал головою. Потом молвил:

– Уходя, одно скажу: будьте усердны к богу, верны государыне, будьте честными людьми, ни на что не напрашивайтесь и ни от чего не отказывайтесь! А теперь – храни вас бог. Пошли, Никитич.

И пока он шел по гостиной, гоня в тычки Гриньку – мальчишке предстояло сидеть запертым в чулане, покуда князь не воротится с победой, чтоб не разболтал о его намерении, – Маша успела увидеть умоляющие глаза матушки, обращенные к Татьяне.

Чего ждала она от старой цыганки? На что надеялась? Что хоть Татьяна – словом ли, ворожбою – отвратит князя от опасного предприятия? Опасность и беда так и реяли в воздухе, их нельзя было не чутя, тем более вещей цыганке... Но Татьяна, которая и в самых малых мелочах была осторожна и осмотрительна (ежели увидит, например, на полу нитку, всегда ее обойдет, потому что неведомо, кем положена эта нить, не со злым ли умыслом!), сейчас сидела молча, безучастно, словно не видела и не слышала ничего.

И князь ушел.

* * *

Вечером матушка сходила навестить сестру, но та по-прежнему крепко спала. Елизавета поглядела на ее малыша, лежащего в зыбке под надзором нянюшки, а потом вернулась в спальню к своим детям. Татьяна уже уложила их и задернула занавеси, чтобы багровый закат не томил глаза.

– Постели мне здесь, – велела княгиня.

– Что так? – удивилась цыганка. – Или комнату по нраву не выберешь?

Маша тоже удивилась: дедов дом был просторен; странно даже и то, что их с Алешкою разместили в одной спальне, – но чтобы и Татьяна, и матушка остались здесь же...

Елизавета склонила голову, устало переплетая тяжелую косу. Пальцы ее проворно перебирали русые пряди, а глаза были устремлены в пол, словно сосредоточенно следили за игрой теней.

– Томно мне, – сказала она вдруг. – Томно, страшно... Где они? Почему не дают о себе вестей?

Татьяна тихо вздохнула.

– Ничего, ничего. Все избудется. Ты сердце свое слушай!

– Да, – молвила Елизавета. – Сердце! – И, отбросив косу, быстро опустила на колени под образами.

Она смотрела в печальное лицо Спасителя, но не крестилась – руки ее были прижаты к груди, и хотя губы шевелились, словно истово творили молитву, Маша почему-то знала, что мать не к богу обращается – зовет мужа поскорее вернуться.

Посреди ночи в дверь сильно, страшно застучали, и раздался истошный крик Никитича:

– Беда, матушка-княгиня! Отворите!

Маша вскинулась в постели. На своей кровати сонно протирает глаза Алешка; Татьяна, уже одетая, со свечой, пыталась одной рукой снять с двери засов. Подбежала матушка – чудилось, они обе вообще не ложились – и помогла впустить Никитича. В руках его горел трехсвечник; в комнате сразу посветлело, и горестное лицо старика сделалось отчетливо заметным.

– Князь Михаил Иванович не вернулся? – деловито спросила Елизавета, и ее голос слегка приободрил Никитича.

– Схватили его, матушка-барыня, – ответил он тихо. – Похоже, упредил кто Аристова. Люди, с нашим князем бывшие, побиты, а сам он повязан и в погреб брошен в избе проклятой Акульки.

Несколько минут царило молчание.

– Ну и что же ты стоишь? – сурово спросила наконец Елизавета. – Подымай народ, веди на воровское гнездо!

– Эх-эх, барыня моя милая! – совсем уж по-стариковски вздохнул Никитич и, не спрашиваясь, тяжело опустился на стул у двери. – Мужички-то наши и пособляли мятежнику! Беда у ворот: дошла и до нас смута. Только Силуян прибежал, головой рискнул: спастись, мол, надобно не мешкая, не то постигнет нас та же участь, что лесозаводчика господина Дербенева, коего свои же лесорубы топорами потесали!

Никитич тут же спохватился, прихлопнул рот ладонью, но поздно – страшные слова уже были произнесены.

Елизавета стиснула руки на груди, постояла так мгновение, будто заколдованная, потом повернулась:

– Татьяна, одень детей. Да побыстрее. Пойдете через сад в лес. Бог даст, выйдете на дорогу к Нижнему...

– Окажите милость, ваше сиятельство, примите мое смиренное гостеприимство! – вдруг послышался глуховатый голос, как бы с некоторым усилием произносящий слова, и в комнату, кланяясь, вступил немолодой, чисто одетый, благообразный мужик, при виде которого Елизавета на миг расцвела своей чарующей улыбкою:

– Силуян, голубчик!

Они знали друг друга давным-давно, еще с той поры, когда две робкие сестрички жили в Елагином доме под присмотром суровой тетюшки, и сейчас княгиня обняла крестьянина и сказала, глядя влажными глазами в его доброе бородатое лицо:

– Здравствуй, Силуян, милый. Спасибо на добром слове, только сейчас мы гости опасные.

– Не перечьте, ваше сиятельство, – сурово возразил Силуян. – Ведь все село наше обложено, все дороги перекрыты. Попадутся ваши птенцы в лапы хищные – не помилуют их злодеи, даром что пред ними дети малые. А у меня в доме есть под сеновалом тайничок. Тесноват, конечно, для четверых будет, да куда ж деваться? Переждете там малое время, день ли, другой, а уж мы с бабою моей найдем способ, как вас вывезти из села, в бочках ли пустых (я ж бондарь), под сеном ли, а то в кузовах. Ну, будет день, будет и пища, а пока собирайтесь, не медлите!

Княгиня стиснула тонкими пальцами его большую грубую ладонь:

– Спаси детей моих – и я за тебя век бога буду молить. Уводи же их поскорее! – Она подтолкнула к Силуяну наспех одетых сына и дочь и, резко вскинув руку, остановила вопрос, готовый вырваться у всех разом: – А я с Лисонькою останусь.

И никто слова против не вымолвил, хотя затрепетало каждое сердце. И взрослым, и малым было ясно: княгиня не могла бросить на произвол судьбы прикованную к постели сестру, вдобавок с новорожденным младенцем. И дети молча приняли от матери крест и прощальный поцелуй, своей трагической торжественностью похожий более на последнее целование, – приняли без слез, возможно, впервые ощутив, что бывают в жизни такие мгновения, когда молчание звучит громче самых надрывных речей.

Дети вышли вслед за Силуяном в сопровождении Татьяны, и последнее, что услышала Маша, прежде чем за ними закрылись двери, был вопрос матушки, обращенный к Никитичу:

– Одного не пойму – кто же предупредил Аристова, что князь за ним явиться намерился? Кто сей презренный предатель?

И тут Машенька почувствовала, как задрожали пальцы Татьяны, сжавшие ее руку...

* * *

Мятежники пришли наутро, уже засветло. Елизавета смотрела сверху, из окна Лисонькиной светелки, на толпу, входящую в ворота барской усадьбы еще робко, подбадривая себя криками, – и ощущала даже некое облегчение оттого, что наконец-то окончилась эта ночь, это тягостное ожидание неминуемой смерти.

Топот и крики разносились по дому. Уже слышался шум опрокинутой мебели, звон разбитой посуды, уже что-то волокли по ступенькам, уже доносились со двора отчаянные, протестующие крики Никитича, пытавшегося отстоять барское добро, когда в залу наконец просунулась конопатая физиономия молодого мужика с вытаращенными от возбуждения глазами. Впрочем, завидев спокойно сидящую на шелковом диванчике нарядную барыню, он сдернул было шапчонку, поклонился по привычке в пояс – да, спохватившись, скрылся за дверью с криком:

– Илья Степанович! Погляди, какая цаца тут сидит!

Сердце Елизаветы глухо стукнуло в горле. Стянула кружевную шаль на груди.

Дверь снова отворилась, и вошел уже другой человек.

Был он среднего роста, с лицом как бы комковатым, неровным, но при этом смышленным и быстроглазым. Острижен под айдар – в кружок, как водилось у пугачевцев. Однако к его круглой голове был привязан капустный лист, и при виде этого знака жесточайшего похмелья страх Елизаветы сменился брезгливостью. О господи, она читала молитвы, дабы оберечься от этого человека, будто от беса, а перед нею – обычный пьянчужка!

Елизавета равнодушно глянула в небольшие карие глаза незнакомца – впрочем, она не сомневалась, что перед нею сам Аристов! – и приподняла брови:

– Что вам угодно, сударь?

Он мягко, неслышно приближался в своих черных плисовых сапогах, приближался чуть улыбаясь:

– Наслышан о вас премного, ваше сиятельство, но такой чудной красоты зреть не чаял!

Елизавета поморщилась.

– Счастлив увидеть вас в добром здравии! – продолжал между тем Аристов, без приглашения усаживаясь в кресло; он так заботливо расправлял полы своего куцега, не первой свежести кафтанишки, словно тот был, по меньшей мере, шит золотом. – А где же дитя новородившееся?

– Вам-то какова забота? – нахмурилась княгиня.

– Жалко дитя малое без матушки оставить! – улыбнулся Аристов, с видимым наслаждением глядя, как побледнело ее лицо.

– Ну так не оставляйте, коли жалко! – отрезала Елизавета, вцепившись в кружево шали с такой силой, что затрещали нитки.

– Нынче власть уже не ваша, – покачал он головой, и лицо его – от резкого движения – вдруг исказилось болью: – О-о, черт!

– Лучше бы вы платок смочили уксусом с водою да приложили, – не удержалась Елизавета.

– Ничего, обойдусь, – проворчал Аристов. – Однако за заботу – благодарствую. Многие тут радешеньки о моем здравии позаботиться! Не далее как нынче ночью одна ворожка посулила: мол, тогда у тебя голова болеть перестанет, как с нею простишься. Да прежде она со своею головою простилась, дура старая.

– Что с князем Михаилом Ивановичем? – перебила Елизавета. – Извольте отвечать!

– Он жив, жив, – закивал Аристов. – Жив... пока!

Елизавета молча глядела на него, нервно тиская шаль на груди. Да, все в мире смешалось! Что ж, случалось и прежде: в тех или иных имениях крестьяне возмущались против барина, жгли, грабили усадьбу, но убийство помещика было крайнее средство, к нему прибегали только отчаянные натуры, наперед согласные идти под кнут или на каторгу.

– Что вы хотите за жизнь князя? – тихо спросила Елизавета. – Я отдам все, чем владею!

– Все? В самом деле? – ухмыльнулся Аристов, и Елизавета едва не задохнулась от прихлынувшей к лицу жаркой волны: Аристову и так принадлежало здесь все – деньги, вещи,

само имение; выходит, она предлагала ему себя? – Ну что ж, сударыня, я воспользуюсь вашим любезным предложением, коли придет охота, но куда...

Он не договорил. Елизавета скомкала шаль и швырнула ему в лицо.

– Не забывайся, самозванцев холуй! – выкрикнула княгиня, охваченная тем опаляющим гневом, который порою заставлял ее терять всякую осторожность и наделял такой отвагой, что и мужчины робели.

Аристов протер слезящиеся глаза и, свернув шаль, положил ее на комод.

– Я сюда явился не для споров с вами! – еле сдерживаясь, проговорил он. – Помилосердствуйте над собою, вообразите, что с вами станется, коли я, разгорячась, кликну сюда мужиков! И хоть отраднo мне будет, когда его сиятельство узрит вас истерзанною, однако сие зрелище лишь укрепит его гнев и ненависть, а у меня имеется иной, более изощренный, план.

– Бога ради, о чем вы говорите? – вмиг сникнув, прошептала Елизавета. – Князь... увидит меня?

– Вздернуть господина Измайлова – дело нехитрое. Однако желательно мне, чтобы накануне казни видел он печальную участь родных своих... подобно тем крепостным, коих разлучал он с детьми и женами, поодиночке распродал их жестокосердным помещикам.

Пафос, звучавший в его речах, был насквозь фальшивым, это Елизавета почувствовала сразу. Он тешился, вздымая утлую лодчонку своего тщеславия на гребне могучей волны слепого гнева народного, затопившего едва ли не пол-России, ничуть не заботясь о том, сколь пагубен может быть итог сего безрассудного мореходства. Гибель его была близка, неминуема – Елизавета чуяла это всем существом своим, – но кого еще утянет с собою в бездну сей дворянин, бросивший честь и благородство своего сословия под ноги черни?

Она напряженно смотрела на Аристова, моля бога воротить ей силы, и даже не вздрогнула, когда мятежник высказал, наконец, то, за чем пришел:

– Берите ребенка и следуйте сей же час за мною!

Она уставилась невидящими глазами в это неказистое, как бы засалившееся от возбуждения лицо, и Аристов подумал, что барыня-гордячка от страха лишилась дара речи. Елизавета же до онемения была ошеломлена догадкой: он ведь принимает ее за Лисоньку! Он ее не знает!.. И ослепляющая надежда спасти сестру ударила в сердце, заставила его забиться живее, вернула краски в лицо, дала силу сказать с насмешливым сожалением:

– Да вы припозднились, сударь. Дитяти моего здесь уже давно нет...

Аристов замер, не веря ушам своим. А Елизавета молилась только о том, чтобы за тяжелыми гобеленами он не разглядел дверей, ведущих в спальню сестры, да чтобы дитя не раскричалось некстати, а Лисонька не вздумала пробудиться.

– Как это – нет! – обескураженно проговорил Аристов, и Елизавета не замедлила перейти в наступление:

– Да так! Сестра моя, дети ее и служанка ушли еще с вечера, взяв с собою сына моего. Князь предвидел беду и строжайший наказ дал – уйти, затаиться. Их уже и след простыл.

Аристов свел брови в задумчивости. Это было похоже на правду: в доме-то ни души господской! Но недоверие взяло верх:

– А вы пошто не ушли с ними?

– Я... я... – пролепетала Елизавета, – ну, я ведь после родов, мне не под силу такое путешествие.

Аристов смотрел на нее, насупясь. Чувствовалось, что подозрения одолевают его, вынуждая размышлять, искать – что же тут нечисто? И Елизавета поняла, что надежды ее едва ли осуществляться... Но тут дверь распахнулась – и в залу ворвался Никитич: весь разлохмаченный, ободранный, словно из драки, с бледным, безумным лицом, – и заголосил с порога:

– Ваше сиятельство, да что же это делается?!

«Разбудит Лисоньку!» – ужаснулась Елизавета: лишь это заботило ее сейчас.

– Мужики проклятые ушли, но все добро разграбили, лошадей со двора свели, припасы больше изгадили, чем приели. А какое бесчинье в комнатах содеяли! – бесстрашно выкрикнул Никитич в лицо Аристову и схватил его за грудки: – Презренный тать, разбойник!

Ну, это было уже слишком! Побагровев, набычась, Аристов оторвал от себя старика и отшвырнул его с такой силой, что Никитич, пролетев полкомнаты, ударился о стену – да так, что пейзаж, висевший на стене, сорвался с крюка, и тяжелая деревянная рама пришлась углом по голове.

Никитич рухнул плашмя, дернулся раз, другой, вытянулся, и Елизавете почудилось, что она видит, как светлая душа верного слуги оставляет его тело...

Аристов подскочил к молодой женщине, схватил за руку, потащил за собою, и потрясенной Елизавете даже не понадобилось притворяться, будто у нее нет сил идти после болезни: ноги подкашивались, она вовсе упала бы, забившись в слезах, когда б не поддерживала последняя надежда: Аристов – поверил ли он ее лжи, забыл ли обо всем от ярости на Никитича, – но не стал искать Лисоньку!

Теперь бы еще как-то дать знать Татьяне, чтоб воротилась в дом господский, нашла оставленную там молодую мать с ребенком... Ах, если бы ее провели мимо Силуяновой избы, если бы он сам или женка его увидели ее, сказали бы о том Татьяне! А та уж сообразит, что делать!.

Елизавета не знала, что в ту пору Татьяны уже не было в живых.

3. Аристов овраг

В погребе, куда Силуян привел беглецов окольной тропкою, продираясь сквозь ночь, было тесно и так темно, что, даже подняв руки к лицу, Маша не смогла их различить. А в глазах еще мельтешили огни факелов, зажженных в селе, в ушах звучал возбужденный рокот толпы. Когда достигли Силуянова дома, стоявшего последним в порядке, у самой околицы, и, охваченные крепкими, ласковыми руками его жены, были препровождены в тайник, сопровождаемые жарким шепотом: «Храни вас бог, ваши сиятельства, дитятки!», то затхлый, сладковатый запах сена в погребе показался даже приятен, а сам погреб – уютным и безопасным. Однако вскоре тут сделалось душно, тяжело. Вообразив, что в этом тайнике придется просидеть, возможно, не один день, Маша ощутила такую тоску, что едва сдержалась в голос не зарыдать. Ах, если бы матушка была здесь – или хоть Татьяна обняла бы, успокоила!.. Маша потянулась во тьму, но цыганку, которая только что была рядом, не нашла. Из противоположного угла доносились всхлипывания и бормотание, и Маша, вслушавшись, поняла: Татьяна говорит что-то Алешке, утешая, а тот мечется, рвется, стонет...

– Нет! Не могу! – вдруг воскликнул он тоненько и залился слезами, и Маша с ужасом вспомнила: да ему же нипочем не выдержать долго в такой тесноте и темнотице!

Эту Алешкину странность обнаружили случайно два года назад: за какую-то провинность Вайда запер княжича в чулан, а спустя час, услышав истошные крики, дверь отомкнули и нашли мальчишку в полубеспамятстве-полубезумии от страха перед закрытой дверью и тьмой. Впрочем, стоило Алешку выпустить, как ему сразу полегчало, и он лишь посмеялся над своим испугом.

Потом князь с княгинею узнали, что недуг Алешки имеет неудобопроизносимое научное наименование и, увы, неизлечим, поэтому его больше никогда, даже при немалых шалостях, не сажали под замок, не запирали в чуланы и погреба... до нынешней ночи, когда от этого заточения зависела его жизнь!

Алешке же, видать, сделалось совсем худо. Маша слышала, как он бьется в руках Татьяны, всхлипывает, пытаясь одолеть свой страх, но тот становился все сильнее, неодолимее – и вот вырвался сдавленный крик:

– Выпустите меня! Выпустите меня! – и следом послышался грохот: это Алешка заколотил в стены кулаками.

– Алешка, тише! – шепотом вскрикнула Маша.

– Тише, ради бога, Алешенька! Погубишь всех! – подхватила Татьяна, пытаясь удержать мальчишку, но страх удесятерил его силы: он всем телом ударился о стену – и в ней вдруг открылась неширокая щель.

Это было невозможно, невероятно: Маша помнила, как громыхнул задвинутый засов: вдобавок Силуян предупредил, что навалит на крышку погреба вязанки сена. Как же Алешка смог?.. Но тут она разглядела бледные, предрассветные звезды на небе и сообразила: не верхний люк открылся, а совсем другая дверь. Наверное, тот потайной выход, ведущий на задворки, о котором упоминал Силуян и о котором, по его уверениям, никто не знал. Чудеса! Ну хорошо, Алешка мог учуять выход из губительной тьмы, – но неужели тот выход был не заперт? Или кто-то слышал шум и крики в погребе и открыл его? Кто же? Силуян? Или...

Маша не успела додумать. Ее брат протиснулся в щель и исчез во тьме.

– Стой! – раздался окрик. – Стой! Держи его!

Послышались топот, треск сломанных ветвей, крики... Погоня удалилась было, наверно, потеряв след, вернулась.

Замелькали факелы, раздались недоумевающие голоса:

– Откуда он взялся, сила нечистая? Словно из-под земли выскочил!

Рука Татьяны легонько, прощально коснулась Машиного лица, а вслед за тем цыганка, словно тень, выскользнула из погребка и проворно задвинула доску, прикрывавшую погреб. Она успела сделать только шаг – и оказалась схвачена грубыми руками.

– Поймали! Гляди, Илья Степаныч! Поймали кого-то! – закричали вокруг.

А старая цыганка всем ужаснувшимся существом своим ждала: вот сейчас закричат, что нашли какой-то лаз... вот сейчас вытащат из укрытия Машеньку! Но нет, все внимание толпы было обращено к ней, и мало-помалу Татьяна смогла овладеть собой, помня только одно: во что бы то ни стало надо заставить их забыть об исчезнувшем Алешке!

Звезды кололи ей глаза, ночь дышала в лицо. Ветер трепал деревья, а Татьяна уже не понимала, то ли шелестят листья, то ли кровь шумит в ушах. Тело как бы растворялось в этой тьме, холод растекался по жилам, и, едва завидев невысокого человека, перед которым подбострастно расступались другие мужики, даже не разглядев его лица, Татьяна выпалила:

– Тогда у тебя голова болеть перестанет, когда с нею простишься! – И только потом увидела, что голова его обвязана капустным листом – от похмелья, а лицо и впрямь искажено гримасой боли.

Когда-то, давным-давно, мать, ворожея цыганская, наворожила Татьяне смерть, если та посулит смерть другому человеку; и с тех пор, гадая, она никогда не забывала об этом предсказании и даже нарочно лгала людям, если видела на их лицах печать скорой кончины. И вот теперь настал ее час! Потому что не вернуть ни одного сказанного ею слова, не обратить вспять пророчество... Но собственная жизнь в глазах Татьяны была слишком малой ценой за спасение Алешки, Машеньки и Елизаветы, а потому цыганка бестрепетно смотрела, как медленно, невыносимо медленно вытаскивает Аристов саблю из ножен, как заносит ее, опускает... Свист разрезаемого сталью воздуха показался ей оглушительным; но прежде, чем смертоносное лезвие коснулось ее шеи, неким тайным зрением Татьяна успела увидеть виновника всех их последних бедствий, того, кто станет бичом и проклятием для Елизаветы и ее семьи еще на долгие, долгие годы. Ох, как много открылось ей в это роковое мгновение, да вот беда – рассказать о том было уже некому... некогда.

Обезглавленное тело ее упало на доску, прикрывавшую тайник: в последнем усилии жизни Татьяна защитила Машу от преследователей.

* * *

А Маша ничего этого не знала... Ночь проведя в слезах и боязни, она наконец забылась сном, но, чудилось, почти сразу ее разбудил тревожный шепот Силуяна:

– Проснитесь, барышня! Выходите поскорей!

Утро было в разгаре, свет высокого солнца ослепил Машины глаза.

– Ох, Силуян, – сказала она жалобно, – брат мой убежал неизвестно куда, и Татьяна ушла следом. Где они, знаешь ли?

Силуян отвел глаза.

– Ничего не слыхал, кроме шума, и участь их мне неведома. Будем молиться, господь милосерд, – уклончиво отвечал он. – А пока идите в дом, покушайте да переоденьтесь, и нынче же я выведу вас из деревни.

– Прямо средь бела дня? Что-то случилось? – насторожилась Маша; и Силуян старательно улыбнулся:

– Чему ж еще случаться? И так бед довольно. А нынче уехать нам удобно, потому как к полудню народишку велено собираться на площади у околицы... на сходку... – Он говорил запинаясь, словно опасался сказать лишнее. – Вот мы и улучим миг – и на свободу-то и выскользнем.

В избе на столе были хлеб и молоко, и Маша, несмотря на волнение, с охотой принялась за еду. Потом Варвара провела ее в бабий кут¹¹, где на лавке лежали приготовленные рубахи и сарафан, чистые, выкатанные, пахнувшие речной свежестью и бывшие почти впору Маше, разве только чуть длинноватые. Варвара помогла ей переодеться, заплела пышные, кудрявые, как у матушки, волосы в тугую косу, убрала пряди ото лба, а высокий, серьезный лоб прикрыла цветной тесьмой.

Что-то зашуршало за печкой – и Маша увидела двух девочек ее лет или чуть помладше, которые, таясь, разглядывали гостью. Сразу полегчало на душе при виде этих румяных, круглых лиц. Завидев ее улыбку и сообразивши, что бранить их никто не станет, девочки выбрались из-за печи. Они были одеты в точности как Маша, обе русоволосые, но сероглазые.

Варвара, увидев дочек рядом с барышней, невольно всплеснула руками:

– Воля твоя, господи, все три – ну как одна! Отец, ты бы поглядел! И впрямь, бог даст, – выберемся неприметно.

Силуян отодвинул занавеску, поглядел, кивнул одобрительно, но улыбка не могла скрыть тревоги, затаившейся в его глазах: кто-то шел по двору! Варвара прикинула к волоковому оконцу и тут же отпрянула, схватившись за сердце.

– Свят, свят, свят! Прячьтесь, барышня, милая моя!

Маша со страху не смогла двинуться с места, и Силуяновы девчонки схватили ее за руки с двух сторон, потащили было за печь, прятаться, да не успели: дверь распахнулась, двое мужиков, на вид пугачевцы, вступили в избу.

– Ты, что ли, бондарь Силуян? – не перекрестясь и не поздоровавшись, спросил один из них.

Силуян прижал шапку к груди, кивнул, не в силах слова вымолвить. Глаза его сторожили каждое движение незваных гостей. Варвара неприметно отступила, заслоня собой замерших у печи девочек.

– Твоя, что ль, телега во дворе? Ехать куда наострился? – грозно вопрошал первый мужик, в то время как второй без спроса ухватил со стола горшок, да молоко все оказалось уже выпито, и он, сплюнув, швырнул горшок на пол (разлетелись во все стороны осколки), потом схватил краюху и принялся громко жевать. Варвара всплеснула руками, но не сказала ни слова.

– А тебе что за дело? – разлепил наконец высохшие губы Силуян.

– Поговори у меня! – рявкнул первый мужик. – Куда ехать готовился, спрашиваю?

Хозяин молчал. Второй мужик от такой отчаянной Силуяновой дерзости даже перестал жевать и, отложив недоеденную краюху, потянул из ножен саблю. Варвара торопливо перекрестилась, а сестры стиснули Машины руки.

– Ты что, ума решился? – спросил первый мужик с некоторой даже растерянностью в голосе: верно, не знал, как быть со строптивым хозяином.

– Решишься тут! – мрачно усмехнулся Силуян. – Тебя не поймешь: то молчи, то говори. Семь пятниц на неделе!

– Ладно, – ухмыльнулся мужик. – Говори давай.

Силуян пожал плечами:

– Ну, моя телега. Ехать же к тетке мне нужно, в Караваево. Хворает тетка, просила навещать ее, да чтоб со всем моим семейством.

– Никуда не поедешь. Всем же велено быть в полдень на сходе – и не моги ослушаться!

– Так ведь тетка же... – неуверенно возразил Силуян.

Однако мужик вновь принял грозный вид.

– Не помрет твоя тетка. А ты за ослушание схлопочешь плетей от нашего атамана, не то и вовсе с головой простишься.

¹¹ Угол горницы, отгороженный занавеской, где хранилась вся бабья утварь и справа, а также сундуки с нарядной одеждой.

Силуян только руками развел. Потом обернулся к жене:

– Так и быть, я пойду с ними, а ты, Варя, гляди, тетку не обидь: поезжай к ней с дочками, да будьте там потише, не ерепеньтесь перед старухой, посматривайте, когда гроза пройдет...

Смысл его иносказаний был до того прозрачен, что Маша вся сжалась: вот сейчас набросятся на него с допросом! Его и впрямь перебили – первый мужик опять разъярился:

– Ох, договоришься ты у меня! Ох, добрешешься! Или оглох на старости лет? Я ж сказал: всех собрать до едины велено, стара и мала. Все ступайте на сход!

– И дочек брать?! – ужаснулась Варвара.

Пугачевец только раз посмотрел на нее – но так, что она, перекрестясь, умолкла. Маша же успела поймать мгновенные взгляды, которыми Силуян обменялся с дочерьми.

– Ну что же, пошли, девоньки, коли велено! – слабым голосом позвала Варвара. – Аринка, Пашенька... Машенька... все пойдемте!

Девочки не отпускали рук гостыи: смышленные, вострые оказались дочки у Силуяна, все в отца с матерью! Их крепкие пожатия давали знать Маше: ее не выдадут, не дадут в обиду.

Ее встревожило – откуда у пугачевцев такое особенное внимание к Силуяновой семье, не заподозрили чего? Однако, сойдя со двора, она увидела, что чуть ли не из каждой избы пугачевцы гонят людей к месту схода; и лица у всех были столь озабоченные, даже испуганные, что никто как бы и не видел, что с Варварой да Силуяном идут три девочки вместо двух! Маша подумала: а вдруг и впрямь все обойдется? Вдруг в толпе никто не заметит ее, а кончится сход – Силуян снова ее спрячет, увезет из села...

Она успокаивала себя как могла, но недобрые предчувствия теснили, теснили сердце... Маша уже знала: ей придется сейчас увидеть нечто страшное. Но что?... И такая неизвестность была втрое страшнее.

* * *

Все это время, что пленники сидели на теплой пожухлой траве под забором, с краю околь-ной площади, ожидая, покуда мятежники соберут нужное им число зрителей для экзекуции над бывшими господами, князь говорил без умолку, словно душегубов и не видел. Он рассказывал смешные истории о своих соседях-помещиках, среди которых и впрямь немало было чудаков и оригиналов: один предавался несусветной, прямо-таки библейской скупости; другой, чудом спасшись от смерти, продал имение и на все деньги выстроил церковь, при которой служил теперь сторожем, третий любил пошалить: зашивал себя в медвежью шкуру и пугал прохожих-проезжих на большой дороге... И хотя все эти истории были с изрядной бородой, особенно рассказ о медведе-помещике, давно уж помершем, Елизавета делала вид, что слышит их впервые, у нее даже сводило челюсти от непрестанной, будто приклеенной улыбки.

Но вскоре ей стало не до улыбок: к пленникам направлялся Аристов.

– Эх, не знали мы своего счастья! – тяжело вздохнул князь, не заботясь говорить тише. – В былые-то времена каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению, а не брался со встречным и поперечным. В иное время я мимо этого человекаядца и пройти погнушался бы, а нынче разговаривать с ним принужден!

Лицо Аристова, только что сиявшее довольством, изменилось, как по дьявольскому мановению. словно черная желчь ударила ему в голову и помutila разум, заставив броситься на князя с криком:

– Держите ему голову!

Два дюжих пугачевца повиновались беспрекословно, оттолкнув Елизавету и сдавив горло князя будто в тисках. Задыхаясь, он открыл рот; высунулся язык. Аристов схватил саблю – Елизавета закричала страшно...

Аристов, не замахиываясь, чиркнул лезвием возле самых губ князя и с брезгливым торжеством стряхнул на траву какой-то красный комок. Князь глухо стонал, захлебываясь кровью, и Елизавета поняла: Аристов отрезал ему язык за неосторожное слово! И тут же изверг подтвердил эту невозможную, страшную догадку:

– Пусть и остался ты злоустым, старый дурак, но злоязыким тебя уже никто не назовет!

Толпа волновалась, не видя толком, что делают с пленными, но чуя кровь и беду даже издали, как животные чувствуют пожар. На вопль Елизаветы отозвалось несколько женских и детских слезных кликов. Кто-то бросался наутек, да пугачевцы хватили беглых и снова заталкивали их в толпу.

Впрочем, Елизавета ничего толком не видела и не слышала, кроме князя, который выхаркивал кровавые пузыри, пытаясь что-то сказать, но мог исторгнуть только яростное мычание. Горели, горели ненавистью глаза его! Смахнув кровь с губ, он вскинул свою окровавленную руку и ткнул ею в Аристова, который со злорадной усмешкой склонился над ним, ткнул прямо в лоб – да так, что кровавый след от его пятерни запечатлелся на этом лбу, словно Каинова печать.

Новая волна злобы помутила разум Аристова.

– Держите его! – вновь закричал он, и Елизавета не успела охнуть, как сверкнула рядом сабля и обрушилась на плечо князя.

Страшный крик сотряс окрестности и отозвался, точно эхо, воплем толпы, и Елизавете на миг почудился в этом общем крике голос дочери, но все это, конечно, был бред, а явью был залитый кровью Михайла Иванович, упавший на траву... Рядом нелепо, ненужно валялась его рука, отрубленная почти по плечо.

Аристов стоял, глубоко дыша, словно наслаждаясь сладким запахом крови; а глаза его сплошь затекли чернотой расплывшихся зрачков – глаза безумца! И Елизавета понимала: он не остановится, пока не замучит князя до смерти. Любимого деда Алешки и Маши, отца Лисоньки. Отца Алексея!

Даже не дав себе мгновения поразмыслить, она бросилась в ноги разбойнику.

Тот отшатнулся было, но тут же искривил рот усмешкою: гордая барыня лежала перед ним во прахе, униженно моля:

– Помилосердствуй, ради господ бога! Пощади! Ты уже отомстил ему за злое слово и дерзкий поступок – прости ж его! Он старик. Оставь его, оставь! Позволь мне перевязать его!

Аристов молчал, покусывая губу. Глаза его померкли, взор сделался спокойнее: возбуждение утиhalo. Елизавета поняла, что он уже слышит ее слова, и вновь взмолилась:

– Он истечет кровью, если не перевязать его раны.

Аристов задумчиво кивнул, и Елизавета метнулась к старику. Не обращая ни малейшего внимания на столпившихся кругом мужиков, она задрала подол и, распустив завязки нижней юбки, стащила с себя льняное полотно. Надкусив шов, с трудом порвала крепкую ткань на полосы.

Из плеча князя все еще била кровь, торчали острые осколки кости, свисали клочья кожи и мышц. Подступившая тошнота заставила содрогнуться, однако Елизавета не отвернулась, а принялась стягивать плечо князя тугим жгутом, останавливая кровь, зажимая пальцами порванные сосуды... Наконец перевязка была закончена, и хотя кровь еще просачивалась сквозь всю толщину льняных накладок, Елизавета знала: кровь вот-вот остановится.

Князь лежал без сознания, и это было для него благо. Сейчас бы его унести в постель, приложить к плечу лед, дать лекарств, призвать хирурга, который зашил бы рану! А если удастся уговорить этого безумца? Может, он уже натешил кровью свою лютую душу?

Она с мольбою подняла глаза и наткнулась на взгляд Аристова – не злой, а как бы любопытствующий – вселяющий надежду?..

Слова не шли с языка – она с немой мольбою простерла к нему руки.

– Сколько у тебя таких юбочнок, красавица? – усмехнулся Аристов; и Елизавета безотчетно улыбнулась в ответ, не понимая и не веря тому, что слышит:

– Что?..

– Юбочнок, говорю, сколько? Ежели все раны перевязывать станешь, какие я ему нанести намерен, скоро останешься в чем мать родила!

Глаза Аристова похотливо блеснули, и Елизавета, словно защищаясь, скрестила руки на груди, но тут же опустила их, поднялась с колен, неотрывно глядя на Аристова:

– Если меня возьмешь, его отпустишь ли?

– Отойдите-ка, – небрежно мотнул Аристов головою, и пугачевцы неохотно попятились.

– Чтоб тебя разок взять, мне твоего согласия и не надобно, – проговорил Аристов, не отводя от нее взора, и Елизавета, к своему изумлению, увидела, как смягчаются его маленькие жестокие глаза. – Откроюсь: мы уходим из села, отступаем. Михельсоны¹² части теснят! – И вскинул руку, гася искру надежды, вспыхнувшую в ее взгляде, добавил: – Однако я помилую сего старика и деревню жечь не стану, если ты сама пойдешь со мною – по своей воле и навсегда.

Елизавета растерянно моргнула. Что это он такое говорит? Как осмелился, паскудник? А дети? А муж возлюбленный!.. И тут же она едва не стукнула себя по лбу с досады. Да что угодно можно ему посулить – такая клятва недорого стоит в глазах господ! Наобещать – даже проще, чем отдаться его похоти. Надобно увериться в безопасности князя, а там только ее и видел Аристов!

Глаза Елизаветы жарко блеснули, и от этого взгляда Аристов весь залоснился, заиграл, будто новенький грош. Он робко потянулся взять ее за руку, и Елизавета внутренне скрепилась перед этим омерзительным прикосновением, как вдруг кто-то, тяжело топая, подбежал к ним и с маху так ударил Аристова по руке, что тот вскрикнул от боли. Повернулся взглянуть на обидчика – да так и застыл с открытым ртом!

Елизавета тоже обернулась, однако увидела не грозного великана, как можно было бы ожидать по виду перепуганного Аристова, а дородную бабу – про таких говорят: «Поперек себя шире» – с грубо нарумяненным, несвежим лицом и косо сидящей на голове кичкою¹³. При этом она была одета как девка: в сарафан, туго перехваченный под дебелой грудью, и рубаху, ворот которой врезался в жирную шею.

– Ах ты, змеиный выползень! – взревела молодка. – Очно только и знаешь, что мне подол задирать, а заочию другую обсусолить норовишь?!

Наверное, это и есть та самая Акулька, которая привела Аристова в Ново-Измайловку, догадалась Елизавета. Бог ты мой! И перед гневом такого чучела сникает, даже как бы уменьшается Аристов, – словно проколотый рыбий пузырь!

Елизавета брезгливо передернула плечами и, отвернувшись, склонилась над все еще беспомытным князем. Она едва успела коснуться его лба, покрытого тяжелой испариной, когда сильный рывок заставил ее выпрямиться.

– Охти мне! А эту версту коломенскую ты где откопал? – пренебрежительно озирая Елизавету, которая и впрямь была гораздо выше ее ростом, пропела Акулька.

И Аристов, стоя пред нею чуть ли не навтыжку, отрапортовал:

– Это же дочь князева, я ее вместе с отцом...

– Погоди-ка! – перебила Акулька, изумленно глядя на Елизавету. – Погоди, голубок!

Маленькие ее глазки, наливаясь злобным торжеством, чудилось, выползали из-под набрякших век.

¹² Михельсон Иван Иванович (1740–1817) – генерал от кавалерии, отличившийся, кроме успешных действий в Русско-турецкой и Русско-шведской войнах, также в разгроме повстанческой армии Пугачева в районах Поволжья.

¹³ Род головного убора замужних женщин (*устар.*).

– Князева дочка, говоришь? Лизавета Михайловна, княгиня Рязанова? Да ведь не она это!

– Ну как же, как же? – закудахтал Аристов. – Я ее в барском доме пленил. Говорит, мол, все утекли, а она по нездоровью, мол, после родин...

– Умолкни! – рявкнула Акулька.

Аристов умолк, словно подавился.

– Это не дочь князева, а сноха его, по первому мужу – графиня Строилова из Любавина, что близ Нижнего. Чего слюни распустил, олух царя небесного? Думал, пред тобою белая лебе-душка, а это – ворониха черная, у коей и клюв, и когти в кровище. Душегубица она своим крестьянам, каких мало!

От изумления Елизавета даже не испугалась. Ведь эта Акулька бесстыдно клеветает на нее. Но почему, зачем? Только ли из ревности за этого перепуганного недомерка? Нет, какое-то зло таит она на Елизавету – давно таит, такое сильное, что готова на смерть ее обречь. И, кажется, ей сейчас это удастся.

Словно завороченная, смотрела Елизавета, как, зловеще поблескивая, ползет из ножен сабля Аристова, на которой не высохла еще кровь князя, и сжала свой венчальный крест, скомкав на груди платье... но тут хор пронзительных голосов разорвал гробовую тишину, воцарившуюся было на площади:

– Медведь! Медведь!

* * *

Какой еще медведь? Что это за шутки?!

Народ разметал пугачевцев-охранников, рассыпался в проулки, но никакого медведя Елизавета не видела – видела только высоконькую девочку, которая, путаясь в слишком длинном сарафане, бежала через площадь, а следом, охая и всплескивая руками, не поспевал Силуян. Волосы девочки были забраны в тугую, длинную косу, и потрясенная Елизавета не тотчас узнала дочь, а узнав, только и могла, что обхватить ее, прижать к себе... Она была так изнурена переживаниями, что не нашла сил оттолкнуть Машу как чужую, притвориться – пусть ради ее спасения. Силуян набежал, встал рядом, тяжело, сокрушенно вздыхая:

– Ох, неладно! Ох, как неладно!..

Да, поздно, поздно было притворяться. Востроглазая Акулька, вмиг все смекнув, расхохоталась, подбоченясь:

– Вот и графинюшка молодая Строилова тут как тут! А право слово, сарафан ей пристал! Может, и правда баяли: не граф Валерьян ей батюшка, а Вольной-атаман?

Елизавета невольно вскрикнула при звуке этого рокового для нее имени, а Маша недоумевающе, растерянно взглянула на мать. И тут же глаза ее, скользнув в сторону, расширились от ужаса, и она завизжала так пронзительно, что у Елизаветы подкосились ноги, и она так и села, увлекая за собою дочь. И, глядя поверх ее головы, она увидела нечто такое, что и впрямь могло пригрезиться лишь в кошмаре.

Медведь... да, верно, медведь – огромный самец с бурой, лоснящейся, сыто нагулянной шерстью переваливался вдоль по улочке то на двух, то на четырех лапах, бросался вправо-влево, с хриплым ревом взмахивая когтистой лапой, и от его ударов люди падали замертво, обливаясь кровью. Вот он увидел ражего пугачевца, который, подвывая от страха, вжимался за угол избы, выталкивая вперед себя бабу с ребенком, которые пытались спрятаться здесь прежде его, но принуждены были уступить праву сильного. Медведь, взревев, кинулся к избе, отшвырнул, будто ненужную, крестьянку вместе с дитем, а пугачевца толкнул так, что он вре-

зался затылком в обоконки¹⁴. Огромная когтистая лапа скользнула по лицу и груди смутьяна – и тот упал, обливаясь кровью, а медведь, не обращая ни малюго внимания на обеспамятевшую бабенку, ринулся вперед.

Вот он поднялся в дыбки: мелькнуло белое пятно на груди; задрал голову, принохиваясь, осматриваясь, – и тяжело, вразвалку пошел на группу людей, замерших посреди площади.

– Меченый! С пятном! Меченый – бешеный! – тоненько взвизгнул Аристов, отмахиваясь от надвигающейся на него бурой глыбы. – Господи, помилуй!

Силуян толкнул Елизавету с дочерью прямо на недвижное тело старого князя, а сам упал сверху, прикрывая их. Но Елизавета выпросталась из его крепких рук, усталилась на медведя, не веря – и все же отчаянно желая поверить догадке, промелькнувшей у нее, когда она осознала, что зверь не тронул ни одного крестьянина: жертвами его пали только пугачевцы. И тут она враз все поняла... Меж кривых когтей зверя, в правой лапе, поблескивало лезвие ножа!

Выходит, не медведь это, а человек, одетый в медвежью шкуру, точь-в-точь как тот стародавний помещик, о котором рассказывал князь. И существовал на всем белом свете только один человек, способный на такую проделку: старый медвежатник Вайда!

Елизавета даже прикрыла рот ладонью, чтобы невзначай не окликнуть, не выдать его. И тотчас невольно содрогнулась, услышав рядом пронзительный визг Акульки:

– Это не медведь! Это цыган! Цыган!

«Откуда она всех нас знает?!» – мелькнула у Елизаветы недоумевающая мысль. И она резко повернулась к Акульке, чтобы сейчас, сию же минуту заткнуть рот предательнице, но та вдруг выхватила из-за пояса ошарашенного Аристова заряженный пистолет и выстрелила из обоих стволов прямо в белое пятно на груди медведя – он-то был уже в двух шагах...

Зверь совсем по-человечески прижал левую лапу к груди – кровь брызнула, пятная белую и бурю шерсть, – какое-то мгновение стоял, покачиваясь, чуть не падая, а потом тяжело, всем телом подался вперед – и рухнул, успев-таки достать правой лапой с привязанным к ней ножом предательницу Акульку.

* * *

Акулька опрокинулась наземь, Аристов же так и стоял, будто пораженный громом. Не шевельнулся он и тогда, когда Елизавета вырвала у него саблю из ножен. Только судорога страха пробежала по его лицу, ибо он ждал, что сейчас эта сабля прервет нить его жизни. Однако Елизавете было не до него: она опустилась на колени подле Вайды и острым лезвием вспорола тяжелую шкуру, еле сдерживаясь, чтобы не закричать от ужаса: вся грудь Вайды была разворочена двойным выстрелом в упор.

– Князь жив ли? – с трудом проговорил цыган.

И Елизавета закивала:

– Жив, жив. Он в беспамятстве, но...

Ее прервал чей-то жалобный стон. Она обернулась и увидела, что Машенька и Силуян приподнимают голову князя. Глаза его были открыты и полны слез, а уцелевшая рука тянулась к Вайде.

Увидав кровь на лице князя и кровавый ком вместо руки, Вайда вовсе помертвел:

– Не успел я... Эх, не успел!..

– Успел, родной мой, – уже не таясь, плакала Елизавета. – Ты всем нам жизнь успел спасти: и князю, и Машеньке, и мне. Еще минутка – и зарубил бы нас проклятый!

Вайда глубоко вздохнул, пытаясь улыбнуться, но воздух не проходил в простреленные легкие, и он забился, задыхаясь.

¹⁴ Ставни (устар.).

– Вайда, ох, Вайда! – всхлипывала Елизавета.

– Князь... и ты, дочка... за все... – пробормотал цыган, и губы его навеки сомкнулись; и еще какие-то последние слова так и не расслышала Елизавета: то ли «прости», то ли «не грусти»...

Плакала, заливалась слезами Машенька, бормотал молитву Силуян, стонал, истекая слезами и кровью, старый князь, а Елизавета всем своим измученным существом подивилась новой насмешке судьбы, которая свела этих двух стариков, ненавидящих друг друга всю жизнь, породнив их всепрощением смерти.

Сердце у нее разрывалось от горя, голова разламывалась от боли. Она встала, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь кровавые круги в глазах; и наконец нечто бледное и плоское, будто непропеченный блин, выплыло из кровавой мглы. Но минуло немалое время, прежде чем Елизавета поняла, что это – лицо остолбенелого Аристов, который так и не двигался с места.

– А-а, – хрипло выговорила Елизавета, – ты еще здесь, тварь?

Руку ее оттягивало что-то тяжелое, и, поведя глазами, она увидела саблю. Какой-то миг недоуменно глядела на нее, а потом перехватила обеими руками и неловко занесла через плечо.

Аристов глухо охнул и проворно зашарил за поясом, вытаскивая другой пистолет. Темные стволы глянули в глаза Елизавете, но даже полыхни они огнем, это не остановило бы ее. Она сделала шаг вперед... палец Аристов вполз на правый курок... И вдруг лицо его исказилось гримасой ужаса: он увидел позади Елизаветы нечто такое, от чего, забыв даже про пистолет, с воплем бросился наутек, петляя по площади и явно норовя укрыться в овраге, зиявшем на окраине села и уводившем в лес.

Жаркое дыхание и конский топот пролетели мимо Елизаветы, и она мельком увидела лицо князя Алексея, припавшего к лошадиной шее и на скаку обернувшегося к жене.

– Батюшка! Батюшка! – зашлась в радостном крике Машенька.

– Слава богу! Слава богу! – твердил, крестясь, Силуян.

А Елизавета молча смотрела, как Алексей нагнал Аристов на краю спасительного оврага и на всем скаку полоснул его саблей. Тут Елизавета закрыла глаза руками и стояла так до тех пор, пока Алексей не очутился рядом и не отвел ее ладони от лица, чтобы покрыть его поцелуями.

* * *

Маша смотрела на них, и восторг сжимал ей горло.

И тогда Елизавета вдруг оторвалась от мужа, и оглянувшись, и вскрикнула изумленно, словно бы только сейчас наконец-то увидела дочь.

– Машенька! Господи! Машенька, ненаглядная моя!

И девочка с радостным криком бросилась на шею к матери и припала всем телом к ее ласковому, родному теплу. Но она еще не успела согреться этим теплом и надышаться им, когда матушка отстранилась и встревоженно заглянула ей в глаза:

– Как же ты здесь очутилась, моя родная? А где Алеша? Татьяна где? Скажи, Силуян, почему...

Силуян стоял бледный, переминаясь с ноги на ногу: его пытка только начиналась!

– Не велите казнить, матушка барыня. Татьяну зарубили злодеи, да и сыночка вашего я не уберег...

– Что?! – выкрикнула Елизавета, хватая его за руку и стискивая так, что боль исказила грустное лицо Силуяна. – Где?..

Она не договорила, сомлев, и князь Алексей едва успел подхватить жену, сам почти теряя сознание от страшной вести.

Маша воздела руки, в отчаянии озираясь, – и вдруг замерла, ибо ей почудилось, что она бредит или видит некий счастливый сон: по дороге, ведущей к барской усадьбе, бежали два мальчика: один постарше, назвавшийся Гринькой, – Маша видела его вчера вечером в доме деда! – а второй был лет десяти... Боже мой!

– Алешка! – бросаясь к брату, завизжала она, да так громко, что княгиня услышала это имя из своего забытья и открыла глаза.

Князь, все еще держа Елизавету на руках, подбежал к сыну, но поскользнулся на траве, не удержался и, сбив с ног Машу, сам упал. Алешка повалился рядом, и какое-то время это была счастливая куча мала, на которую, крестясь, в изумлении смотрел Силуян. Смотрел на них и мальчишка Гринька – смотрел своими странными, прозрачными и в то же время непрозрачными зелеными глазами.

И опять смешались слезы, и поцелуи, и слова, и выкрики, и рассказы о том, как князь Алексей и Вайда чудом спаслись от мятежников, наткнувшись на отряд регулярных войск Михельсона, который они привели с собой в Ново-Измайлово, и как Алешка, себя не помня, выбрался из погреба Силуяна (тот за голову хватался, недоумевая, почему же все-таки оказалась отворена потайная дверца!) – и бежал куда глаза глядят, пока не наткнулся на пугачевцев, да тут, откуда ни возьмись, появился Гринька и задурил мужикам головы, уверив, что Алешка – его брательник. Ребята отсиделись в лесу, а утром, дождавшись, когда уйдут грабители, забрались в барский дом, где уже проснулась и места не находила от страха Лисонька. Почти до полудня они втроем не могли решить, что делать и откуда взять подмогу, да вдруг во двор влетел на взмыленном коне князь Румянцев, который отстал от своего отряда, чтобы разузнать, что приключилось с его женой и близкими в захваченном пугачевцами Ново-Измайлове.

Елизавета бесчисленно благодарила бога, узнав, что ее сестра жива и невредима, но тут пришли крестьяне, принесли обезглавленное тело Татьяны и уложили рядом с мертвым Вайдою и старым князем Измайловым, который тихо и неприметно оставил сей мир, обессиленный потерей крови, лютой болью и непосильным уже бременем вернувшегося счастья... И долго еще в этот день чередовались радость и горе, лились попеременно слезы счастья и слезы печали, и слишком многое было впопыхах забыто – чтобы потом, гораздо позже, напомнить о себе новой болью и новыми ранами.

4. Приемьш

Все усадьбы, где проходили пугачевцы, были истреблены с корнем или так залиты кровью, что невозможно было жить там, не тревожась бесчисленными призраками погубленных, замученных.

Не составляло исключения и Ново-Измайлово. Спровадили неприятеля, схоронили погибших (они все так и легли рядышком на новом кладбище близ часовни в парке имения – князь Михайла Иваныч и цыгане Вайда с Татьяною). Князь Алексей, поселив в усадьбе управляющего-немца – умелого, бесстрашного и бессердечного, – дал ему полную волю во всех мерах, которые тот счел бы нужным применить для восстановления барского дома и всего разоренного хозяйства; потом отправил Лисоньку с мужем и малым сыном в Рязановку, а свою семью увез в Любавино, надеясь, что время когда-нибудь развеет воспоминания о кровавой резне в Ново-Измайловском имении.

Все больше привязываясь к Любавину, кое было и впрямь и красиво, и расположено прекрасно, и в умелой руке приносило немалый доход, князь тем не менее теперь частенько подумывал о возвращении в Измайлово-подмосковное, когда-то в горести покинутое Михайлой Иванычем, а ныне вполне готовое к возвращению его наследников. Каждый год князь Алексей собирался весной, по просухе, съездить туда, однако всегда находились дела, отменявшие его планы. К тому же императрица, озабоченная среди прочего и состоянием русских интересов на Балканах, нередко призывала князя Измайлова в Санкт-Петербург для совета и беседы, ибо мало кто в России так знал о положении братьев-сербов и мало у кого так болела душа по этой разоренной славянской стране. Впрочем, пока решение балканского вопроса ограничивалось одними лишь советами да беседами, хотя времени эти поездки у князя отнимали немало.

Шли годы, и многое забывалось. Все реже терзала княгиню Елизавету тоска по погибшим Вайде и Татьяне, однако по-прежнему томило недоумение: что же все-таки произошло той ночью, когда был схвачен старый князь, когда чуть не погиб Алешка? Кто в сем повинен? Нет, Елизавета и помыслить не могла, чтобы Татьяна решилась причинить вред ее сыну, но все чаще мучило подозрение: а не повинна ли цыганка в пленении старого князя? Не она ли выдала его Аристову? Уж больно странно держалась Татьяна в тот вечер, странные слова говорила, а при разговоре о мести, как теперь вспоминали Елизавета и Маша, и вовсе сама не своя сделалась... А ведь ей было, ох, было за что гневаться на Михайлу Иваныча, за что мстить ему, – вдруг да не удержалась? И святые, говорят, искушаются – Татьяна же отнюдь не была святой! Имя цыганки обрастало с течением лет новыми и новыми слухами – все более страшными, даже жуткими. Елизавета только удивлялась, откуда они берутся, хотя знала, что крестьяне да дворяне горазды посудачить о всякой небывальщине. Даже ее дети порою слушали эти байки, уши развесив, – что же говорить тогда о всяких Наташках, Агафьях, Агапках с Лукьяшками, да и о том же Гриньке?..

А Гринька, к слову сказать, так и прижился у Измайловых, превратившись из приемьша гулящей бабы Акульки в приемьша княжеского. Алексей и Елизавета, обуреваемые благодарностью за спасение сына, находили, что и самое щедрое воздаяние будет малой ценою за такое благодеяние; а поскольку Алеша нипочем не желал расстаться со своим новым другом и названным братаном¹⁵, то и было решено: взять Гриньку с собой в Любавино и растить его вместе со своими детьми, как родного. Так и случилось, так и повелось, и все скоро привыкли, что вместе с баричами воспитывается приемьш.

А что? Люди и не к такому привыкают!

¹⁵ Старший брат для младшего (*устар.*).

Гринька стоял по возрасту как раз между Машей и Алешкою: на год младше одной и на год старше другого. Однако человек, не знающий таких подробностей, не усомнился бы, что в этой троице именно он – старший, поскольку был коновод и заводила. Нет, нельзя сказать, чтобы он подбивал княжичей на ненужные шалости. Сам озорничать любил, что верно, то верно, но буйного, азартного Алешку всегда от крайностей остерегал, Машу же оберегал как зеницу ока – и тогда, в порыве этой заботы, и впрямь казался старше своих лет.

Дети были неразлучны как в забавах, так и в обязанностях своих: учились вместе у гофмейстера и мадам, наемных воспитателей-иностранцев, на всех уроках сидели рядом.

Машеньке исполнилось шестнадцать: по меркам того времени, она созрела для замужества. Охотники со всей губернии – охотники за красотой и приданым графини Марии Валерьяновны Строиловой – непрестанно крутились вокруг, однако сия юная девица с разбором глядела на мужчин. Плоть от плоти, кровь от крови своей пылкой и неустрашимой матери, Машенька могла полюбить только человека, ее превосходящего. Она не думала ни об особенной красоте, ни о богатстве, ни о положении в обществе этого неизвестного. Только бы он был герой!

Таковым в ее окружении оказался только один человек. Тот самый приемыш Гринька.

Надобно сказать, что никто уже не звал его этим пренебрежительным детским прозвищем. Теперь он был Григорием и вполне этому дерзкому и бесшабашному имени соответствовал. Невозможно было признать заморыша, коего когда-то втолкнул старый Никитич в гостиную ново-измайловского дома, в этом высоком, еще худошавом, но уже с развернувшимися, широкими плечами юноше, быстроногом и проворном как в движениях, так и в мыслях.

Просто удивительно, до чего он был востер. И хотя в науках гуманитарных Алешка далеко опережал его живостью своего воображения, однако же в дисциплинах точных, где требовались расчет, сметливость и быстрота соображения, Григорию не было равных.

Изменилось и лицо его. Зеленые глаза стали настолько яркие и хороши, что прежде всего именно они обращали на себя внимание; и в свете этих глаз меркла та недобрая хитроватость черт, которая шла от прежней забитости и недоверчивости, – или почти меркла. Она проявлялась лишь порою, в минуты озабоченности. Скажем, когда Григорий задумывался о том, что, при всей любви к нему князя, княгини и их детей, он всего лишь приемыш, то есть никто, человек без роду, без племени, без состояния, всецело зависящий от милости своих покровителей... Впрочем, отношение к нему было самое лучшее, но все же неопределенность его положения не могла не заботить Григория, и он в лепешку разбивался, чтобы стать в этом доме человеком нужным и даже незаменимым.

Любавино в твердой руке князя Алексея сделалось как бы маленьким государством, подобно тем средневековым владениям, кои вполне обходились своим натуральным хозяйством. Здесь имелся немалый простор для приложения рук, и Григорий, в своей ретивой благодарности и в стремлении к надежному будущему, всякого дела попробовал. Да вот беда: при всем своем усердии успеха не достиг ни в чем.

Как и многих юношей его лет, больше всего привлекали Григория кони. Был он в седле отважен и неутомим, но почему-то всякий скакун норовил его сбросить и чаще всего своего добивался. При его появлении в конюшне глаза у лошадей наливались кровью, с губ слетала пена, как после изнурительной гонки, ну а если Григорий присутствовал при случке, то у самого ярого жеребца и самой соблазнительной кобылки враз остывал взаимный пыл. Конюхи – люди приметливые и суеверные – вскоре перестали даже близко подпускать Григория к лошадям.

Пожалуй, единственным, что безусловно задалось у Григория, была охота, и она стяжала ему истинную славу, причем не столько среди крестьян, для коих она – всего лишь промысел,

то есть не удовольствие, а та же работа, сколько среди помещиков, которые в лес съезжаются, дабы позабавиться и удаль свою показать. И вскоре пронесся окрест слух, что у князя Измайлова появился новый егерь – истинное чудо!

К сему надобно добавить, что Григорий обладал таким чутьем, что не смог бы заплутаться в лесу, даже если бы старался изо всех сил; по болотинам, мшавам и даже чарусам¹⁶ он проходил аки посуху – словно бы кто-то незримый стелил ему под ноги незримую же гать! А если еще сказать, что Григорий не только лягушками и ужами не брезговал – мало того, что в руки их брал – ужаков и вокруг шеи обматывал! – но и ядовитые гады пред ним цепенели, вели себя вполне дружелюбно: ползали вокруг, но не нападали, он даже приручил малого змееныша, – если учесть еще и это, понятно становится, почему в деревне перешептывались: мол, не иначе с матерью Гринькиной леший как-то раз побаловался, а не то – сам Гринька его покровительством и помощью пользуется черт знает за какие услуги!

Григорий понабрал себе в охотничью команду с десятков удальцов-молодцов, глядевших ему в рот, но никто из этих ловких егерей с ним даже по малости сравняться не мог!

Князь с княгиней, конечно, рады были, что воспитанник их пристроился к делу такому необычайному, почетному и выказывает в нем явное превосходство над прочими. Но больше всех, хотя и не явно, радовалась этому Маша, ибо загадочный талант Григория немало добавлял к тому героическому ореолу, коим после спасения брата он был окружен в ее глазах.

Впрочем, и здесь все было не так-то просто, и сказать, что Маша в Григория влюблена, оказалось бы разом и правдою, истиной – и ложью, натяжкой.

Началось все вроде бы ни с чего. Как-то раз случились в Любавине гости. Приехали дети Потапа Семеныча – Елизаветина друга и спасителя в прежние, еще при жизни графа Строилова, времена. Собралось человек восемь-десять. Все они в Любавине были вполне своими людьми и уже привыкли, что где господа, там и молодой, пригожий егерь.

Затеяли играть в жмурки. Водить по жребии выпало Григорию, и пока он кидался то за одним, то за другим, Машеньке сие наскучило. Она углубилась в ореховую аллею, и хотя с кустов давно были обобраны даже и молочные орешки, она вдруг заметила рясную ветку нетронутых бранцов. (Надо пояснить, что бранцами называются самые спелые орешки, последыши, которые остаются на кустах необобранными.) Обо всем забыв, Маша принялась очищать орешки от шубок и шелкать. Этот-то ретивый треск и услышал Григорий, который ломился по кустам с завязанными глазами, уже отчаясь поймать проворных игроков.

– Ага! Попалась! – закричал он торжествующе, хватая Машу в охапку.

Она едва не подавилась орехом, но стояла тихо, чуть сдерживая смех: по условиям игры тот, кто водил, должен был еще и угадать, кого он поймал, – в том-то и состояло самое интересное!

Маша повела глазами и увидела, что вся компания повысунулась из кустов и, зажимая рты ладошками, следит за ними с Григорием: хитрецы, оказывается, бесшумно следовали за ним по пятам. Алешка строил сестре невообразимые рожи, надеясь, что та расхохочется и выдаст себя, однако у Маши почему-то весь смех пропал. Григорий же как схватил ее, словно и окаменел весь: стоял, уткнувшись губами в Машину косу, скрученную на затылке, и почти не дышал. Она же ощущала плечами тепло его рук и груди, к коей была притиснута, – нет, не тепло, а жар!

Маша удивилась: отчего это он такой горячий, ну как печка, и тут Григорий вздохнул судорожно, словно ему не хватало воздуха, и проговорил хрипло:

– Узнал, узнал! Это вы, Ольга Потаповна!

¹⁶ Самые гибельные в болотах места, зияющие провалами, замаскированные приманчивой зеленой травкою.

– Проиграл, проиграл! Штраф, плати штраф! – закричала, загалдела веселая компания, окружила Григория, сорвала повязку, затормошила, вынуждая прыгать на одной ножке через канаву, кричать петухом, лаять собакою и проделывать разные прочие чудачества, кои только могли взбесить на ум разошедшимся гостям.

Одна Маша не принимала участия в общем гомоне, недоумевая: да как же это смог Григорий не распознать ее с Оленькою? Она и толще Маши в два обхвата, и ростом с вершок, и голову не скручивает косою... По правде сказать, не коса у Оленьки, а какое-то охвостье!

Она сердито тряхнула головой и огляделась. Ее друзья снова затевали жмурки, и опять водил, понятное дело, позорно проигравший Григорий. И тут запала Маше в голову шальная мысль – выяснить, впрямь ли он не узнал ее или просто глумился на глазах у всех?

Старательно хохоча, она перебегала от одного игрока к другому, шепотом подбивая обхитрить бестолкового Гриньку и потихоньку убежать, оставив его играть в жмурки с кустами да деревьями. Конечно, окажись на его месте Алексей Измайлов-меньшой, или Гавриил, Оленькин брат, или молодой граф Шемякин, или кто другой из именитых, гости, пожалуй, посовестились бы его бросить. А церемониться с приемышем... да что ж тут такого?

Словом, не прошло и пяти минут, как озорники через сад убежали к реке и начали кататься на лодках, забыв о Григории и даже не приметив, как Машенька улизнула от них. Однако когда она воротилась к месту игры, Григория там тоже не оказалось. Наверное, разгадал, что его бросили, да ушел. Еще раз оглядевшись, Маша решила хоть яблочком угоститься. Принялась трясти ближнее к ней деревце – да так и ахнула, когда кто-то внезапно заключил ее в объятия, да такие крепкие, что она головы не могла поднять. Впрочем, она и без того сразу узнала Григория. А вот узнает ли он ее на сей раз или опять примет за Оленьку?

Единожды оплошав, Григорий не торопился с отгадкой, а стоял неподвижно, как бы приглядываясь к своей добыче, но не глазами, которые были у него завязаны, а как бы телом. Маша, вынужденно прильнувшая к нему, поразилась, как колотится его сердце, – бегом, что ли, бегал Григорий, разыскивая игроков-обманщиков? Вон как тяжело дышит!

Вслушиваясь в это тяжелое дыхание, Маша вдруг ощутила, что сердце Григория, только что бившееся ей в бок, теперь колотится в самую грудь ее. Как же это он успел повернуть Машу к себе лицом, что она и не заметила? Не заметила и того, что руки его более не лежат каменно на ее плечах, а медленно глядят спину, спускаясь к талии, а жаркие губы ползут по щеке, по шее и вот уже уткнулись в нежную ямку там, где шея смыкается с плечом. Наконец глухой, сдавленный голос прошептал:

– Машенька, душа моя!

«Все-таки узнал меня!» – мелькнула у Маши мысль, да тут же и исчезла в сумятице других. Эта мысль принадлежала той Маше, которой она была всего минуту назад, но за прошедшую минуту она успела унести от себя – прежней – бесконечно далеко. Да и задыхающийся шепот Григория отнюдь не напоминал его прежнюю веселую скороговорку. Изменились и тела их: он был горяч, как огонь, тверд, как камень, он весь вжимался в Машино тело, которое податливо льнуло к Григорию, как растаявший воск льнет к пальцам. Грудь ее смыкалась с его грудью, колени – с его коленями, губы – с его губами... а потом губы их неумело, но жадно впились друг в друга.

Его руки жадно обнимали ее всю, – их, чудилось, было множество, они враз спускали кружева с ее плеч, и касались груди, и поднимали юбки, и гладили бедра, все ближе подбираясь к трепещущей девичьей сути. Маша обмякла в руках Григория, клонилась долу, и он клонился вместе с нею, что-то жарко шепча в ее тяжело дышащий рот... И вдруг, не сдержав пыла, так больно впился зубами в Машины губы, что она ощутила вкус своей крови и громко вскрикнула.

Звук собственного голоса отрезвил, и Маша, упершись руками в грудь Григория, попыталась отскочить. Открыла глаза – да так и замерла, узрев, что лиф ее расстегнут, голая грудь наружу, розовые юбки из линобатиста смяты и заткнуты за ее же пояс, ноги... ох, ноги обна-

жены не то что выше колен, а до самой самости! Повязка с глаз Григория сбилась ему на лоб, лицо горело, взор блуждал, пояс его был распушен, а из-под задранной рубахи... о господи...

– О господи! – выкрикнула Маша и, бросившись под яблоневые ветви, побежала прочь, едва успевая отстранять от лица сучья и листья, ничего не видя перед собой, кроме того неведомого, что сейчас, впервые в жизни, открылось вдруг ее взору.

* * *

Сведущие люди говорят, что невинность покидает девушку не в тот миг, когда она вьется согрешит, а когда лишь возмечтает согрешить. И если сие правда, то Маша перестала быть невинною девушкою именно в те мгновения, когда стремглав неслась прочь от Григория, равно снедаемая отвращением к себе и к нему – и неистовым желанием утолить жар в чреслах.

Маша не помнила, как отдышалась, умылась и переоделась в своей светелке, как спустилась к ужину, как избыла этот день до вечера. Она с ужасом ждала, что вот появится Григорий – и все сразу поймут: между ними произошло нечто постыдное. Ее словно молнией пронзило, когда он вошел: бледный, с мокрыми волосами и воротом, словно обливался прямо из ведра, не раздеваясь. Встретиться с ним взглядом было невозможно, и Машины глаза, воровато скользнув по его груди, уперлись ниже пояса, в то место, где был край рубахи... и уже знакомый жар внезапно опалил ее чресла. Маша мысленно взмолилась, чтобы господь немедленно повелел дню закончиться, не ведая, что скоро будет молить его сократить и ночь, ибо ночь сия оказалась для нее бессонной и мучительной.

Сроду она такого не испытывала! Выпадали мгновения, когда Маша спохватывалась, что уже отворяет окошко или отодвигает задвижку на двери, готовая как есть, в одной рубахе, бежать к Григорию, чтобы вновь ощутить его жар, его поцелуи, чтобы вновь увидеть, увидеть...

Эти воспоминания на какой-то миг охлаждали жар в ее крови, наполняя душу стыдом, даже отвращением, но тут же вновь уступали место неутоленному желанию, заставлявшему мысленно лететь по дому, по лестницам и переходам, искать Григория по комнатам... А вдруг кто-то из гостей еще не спит, спохватилась Маша, что, если кто-нибудь из молодых людей увидит ее полунагую? Ну, окажись тут Матвей Шемякин, этот повеса своего не упустит бы! Говорят, после того, как отец свозил его в столицы, к родне, двоюродная тетка Матвея, молоденькая вдова, потом приезжала в Шемякино, племянника подстерегала и едва ли не прилюдно в штаны к нему лазила. Уж наверное, Матвей горяч не только во взорах, коими он так и проживает дамские декольте! Губы у него припухшие, словно нацелованные...

Маша провела языком по своим пересохшим, жадно приоткрывшимся губам – и опрометью кинулась в угол, под иконы. Упала на колени, заколотилась лбом об пол, внезапно открыв для себя страшную истину: нет, не Григория алчет ее тело, а просто греха, любодействия... и, кажется, все равно с кем!

Вот так и вышло, что Григорий возмутил ее плоть, не затронув сердца, и отныне, общаясь с ним, она чувствовала лишь неловкость и стыд, особенно когда вспоминала свои горячечные сновидения, в коих буйствовала с Григорием... впрочем, он был лишь одним из сонма тех воображаемых любовников, кои распяляли и тешили ее в снах!

Маша похудела, замкнулась в себе, как бы пригнулась под бременем не свершенного, но оттого не менее тягостного греха. Воспитанная в страхе божием, она не могла не сознавать греховности своих мечтаний. Но что матушка страстно, безумно любила князя Алексея и ночи их были полны любострастия, Маше казалось вполне естественным и не стыдным: они ведь были супругами. Вот если бы Григорий оказался ее мужем, тогда дело другое.

Но все же она была графиня, а ее отчим – князь; он и матушка обласканы императрицею, а Григорий – кто такой? Восхищаться им, даже целоваться с ним – это одно, но дать роковую

клятву... родить от него детей?! Гринька – он Гринька и есть, Гринькой и останется. Как ни влекло ее по ночам к пригожему егерю, но все-таки над Машиным сердцем властвовало не истинное чувство, а всего лишь восторг первого желания, – так что днем она вполне трезво могла благодарить судьбу за то, что их с Григорием амурства заглушены гласом рассудка, так и не развившись.

Сие предполагала Маша, но она не приняла в расчет Григория, который хоть и понимал, какое чрезвычайное расстояние существует между судьбами богатой красавицы-наследницы и бедного егеря-приемыша, но обладал терпением и хитростью дикаря, а потому не намеревался плестись на поводке своей злосчастной Фортуны.

5. Честной Лес

На Нижегородчине испокон веков пошаливали. Да и как не шалить, когда сами Дятловы горы, на коих стоял Нижний, названы, по слухам, именем какого-то баснословного разбойника Дятла! Вот и плодились его духовные наследники что в лесах, что на горах¹⁷, не давая спуска и добрым, и недобрым людям – все едино, лишь бы мошна тугая.

Не было такого уезда в Нижегородской губернии, откуда бы не доносились то и дело тревожные вести: «Шалят!.. Пошаливают!..» – и туда мчалась воинская команда на разбор. Места, удобные для шалостей, были известны всем: пешим и конным, всадникам и экипажам, одиночкам и обозам. В окрестностях Нижнего наиболее опасными для проезжающих считались урочище Смычка, поле около деревень Утечкино и Грабиловка, лес близ села Кстова. Арзамасская провинция «славилась» Бреховым болотом и рощей у деревни Кудеяровки Лукояновской округи... Да и вообще на Волге и Оке почти каждый остров, пустырь или крутой поворот реки служили убежищем вооруженным удальцам.

Любавино вот уж лет пятнадцать господь уберегал от разбойничьей напасти – с тех самых пор, как повязали всю шайку Гришки-атамана по прозвищу Вольной, а сам он был убит своим сообщником в лесной чаще. Однако с зимы 1779 года потянулись, поползли, подобно едкому дымку от сырых дров, слухи один другого неопределеннее про какого-то атамана с диковинным прозвищем Честной Лес да про шалости его ватаги. Была она невелика: двенадцать готовых на все удальцов, – зато деловита не в меру. Пробавлялась мелкими грабежами на почтовых перегонах, сперва мало чем отличаясь от других, собирающих на большой дороге «пошлину» с купцов. Однако скоро ватага пошла «в помещичьих домах псалмы петь»: совершился налет на усадьбу, стоявшую посреди большого села Орликова. Это уж, считай, под боком у Любавина! Граф Орликов, сын его Андрей, приятель Алешки Измайлова, вместе со старостами и приказчиками встретили разбойников ружейным огнем. Произошло настоящее сражение, с обеих сторон оказались убитые и раненые. В этом деле впервые удалось увидеть ватажников Честного Леса. Это были крепкие, рыжие удальцы, одетые с бору по сосенке, однако схожие между собою, как родные братья: у всех были волосы особенного, соломенно-рыжего цвета, кудлатые и нечесанные, тяжелые бороды и пышные усы, скрывавшие лица.

В любавинских лесах, увы, тоже спокойствия не было. Откуда ни возьмись появились там браконьеры и нагличали чрезвычайно, расставляя кругом самострелы. Егеря во главе с Григорием в лесах дневали и ночевали, сиюсь извести хитников, но кончилось это печально: один из егерей, Никишка, погиб – вся грудь была разворочена выстрелом! – другой оказался ранен, да не стрелою, а пулею. И вот что диковинно: получалось, что браконьерничали в любавинских угодьях не голодные крестьяне, у коих самострел, он и есть самострел – со стрелою, а люди достаточные, коли не скупилась на дульное оружие и недешевый к нему припас. А поскольку шайка Честного Леса как раз и была оснащена отличным стрелковым оружием, то долго думать не стали и сию злокозненность приписали этому разбойнику, тем паче что беда с егерями совпала по времени с перестрелкою в Орликове.

Маша не была особенной любительницей дальних лесных прогулок, предпочитала речные берега, но в начале августа случилось нечто, изменившее ее пристрастие: в конюшне князя Измайлова появилась новая лошадка, купленная им именно для падчерицы, – истинное чудо! Она была медово-золотистая, как небо на закате, тонконогая, необычайно изящная и резвая. Обошлась кобылка в немалые деньги, однако стоило только взглянуть на эту прелесть, и величина суммы казалась чем-то второстепенным.

¹⁷ На левом и правом берегах Волги.

Больше всего на свете золотистая Эрле любила скачку с препятствиями, а не ровный, спокойный бег по просторным волжским берегам. Извилистые лесные тропы и поваленные стволы привлекали ее куда больше; ну а Маша ради нее готова была смириться с сырым зеленым полумраком. Матушка умоляла ее не ездить одной, без сопровождающих, но вот беда: в имении не было ни одного коня, который сравнился бы в скорости с Эрле, – ни одного, кроме Алешкиного Зверя, но то был истинный зверь: идущую рядом лошадь он норовил искушать до крови и даже нежная прелесть Эрле его не смягчала. Егеря тоже не могли сопровождать молодую графиню: Григорий никому из них не доверил бы ее безопасность, а может быть, втихомолку ревновал эту горячую штучку уже ко всем подряд. Сам он верхом не ездил: как известно, лошади его не терпели. Вот так и получалось, что Маша ездила обыкновенно одна. И доездилась!

Она направила Эрле по обычной тропе: через березовую рощу, потом сквозь ельник, смеявшийся чахлым лиственничником, – в объезд болота, к заброшенному охотничьему домику. Это была немного мрачноватая, но красивая тропа. Однако день выдался хмурый, бессолнечный; над папоротниками стелился серый туман, то и дело выползавший на тропу. Серые призрачные фигуры колыхались и над болотом – жутковатое зрелище. Да еще и разбухался бухало¹⁸, словно бы отмеряя каждый скок Эрле; да выпь поскрипывала в камышах. Кататься расхотелось... Эрле охотно не пошла на второй круг и резко свернула на тропу, ведущую к дому. Тут выпь наконец не выдержала, заорала что было мочи, издав мучительный, точно бы предсмертный вопль! И случилось нечто диковинное: поперек тропы рухнула корявая лиственка – рухнула, словно испугалась этого ужасного крика. Эрле запнулась только на мгновение, потом вздыбилась – и сразу же взяла препятствие, как бы даже и не заметила его, и полетела дальше, подгоняемая страхом, легкая, освободившаяся от своей ноши, – ибо всадница не удержалась в седле и осталась лежать, подкатившись под лиственничный, утыканный сломанными сучьями ствол.

* * *

Она очнулась оттого, что чьи-то руки грубо тащили ее по земле. Открыла глаза – и едва успела отвернуться от острого сука, норовившего пропороть ей щеку. И сразу все вспомнила; загудело от боли тело. Маша со стоном приподнялась, пытаясь оторвать от себя эти жесткие, злые руки, которые тащили и тащили ее, хотя угрожающие ветки лиственницы остались уже позади, – и дыхание у нее пресеклось, когда она увидела совсем рядом потное, чумазое мужичье лицо в обрамлении соломенно-рыжих волос и кудлатой окладистой бороды.

Честной Лес!

На мгновение Маша снова лишилась сознания, но тут же и очнулась, потому что горячая пятерня больно сдавила ей грудь.

Маша завопила что было сил, а мужик только хрипло рассмеялся.

– Кричи, кричи, птаха! – закатывался он. – Как раз со всего леса сюда мои подельники и слетятся. То-то потешимся!

Маша онемела, зажмурилась, но когда мужик резко рванул на ней платье, оголив грудь, она снова испустила истошный крик – и захлебнулась, когда пятерня стиснула ей горло. Другой рукой мужик взялся за свою одежду, но вдруг глаза его изумленно выпучились, он замер, постоял, качаясь вперед-назад, а потом тяжело рухнул ничком, едва не придавив Машу. И к ней склонилось бледное, с потемневшими глазами лицо Григория.

– Машенька, душенька! – прошептал он, задыхаясь. – Он ничего тебе не сделал, нет?

¹⁸ Филин.

Это было похоже на чудо... хотелось броситься к нему, прижаться, но Маша сидела, схватившись за горло, не в силах слова молвить. Григорий прижал ее к себе, обхватил, чуть покачиваясь, словно баюкая, забормотал:

– Ничего, уже все прошло. Тише, тише...

Но едва только Маша расслабилась, притихла в его объятиях, как Григорий отстранился и замер, насторожившись: совсем рядом раздался волчий вой – залиvistый и протяжный, оборвавшийся... о господи, оборвавшийся раскатистым хохотом!

– Оборотень! – шепотом вскрикнула Маша.

Григорий рывком поставил ее на ноги.

– Нет, – сказал он, – не оборотень. Это Честной Лес! Бежим!

Они кинулись было по тропинке, надеясь перелезть через поваленное дерево, но из лесу вывалилась на тропу высокая фигура, выдергивая из-под пояса топор. Еще кто-то ломился сквозь чащобу, чужие голоса перекликались слева и справа. Григорий попытался улыбнуться в ответ на отчаянный Машин взгляд, но у него ничего не получилось. Глянув еще раз на тропу и сокрушенно покачав головою, он бросился бежать кругом болота, волоча за собою Машу, направляясь к охотничьему домику. Сзади свистали, орали, улюлюкали – все ближе, ближе... Погоня уже дышала в затылок, когда беглецы наконец влетели в избушку, с силой захлопнув за собой тяжелую бревенчатую дверь и наложив на нее мощный засов.

Маша так и села, где стояла, а Григорий забегал по домику, закрывая два окна крепкими дощатыми щитами. В избушке сгустился полумрак, Маша судорожно, со всхлипом, перевела дух, и Григорий тотчас оказался рядом, обнял, прижал к себе, сам тяжело, запаленно дыша. Но даже громкий стук его сердца не мог заглушить насмешливого окрика:

– Эй, добрый молодец! Выкинь нам свою девку, – а сам иди подобру-поздорову. Жив останешься! Ты нам не надобен! А хоть – забереешь потом, что после нас останется. Отвори дверь-то, слышь?

* * *

Шло время. Бессолнечный, серый денек, должно быть, уже перевалил за полдень. Не меньше часа Маша с Григорием томились в заточении.

Иссякли уже слезы, только жгло измученные глаза и горели щеки. Она тихо сидела, подтянув колени к подбородку, и безнадежно, невидяще смотрела на Григория, который понуро стоял у заложеного щитком окошка.

Гнилые словеса доносились из-за двери непрерывно, и Маша уже устала пугаться от этих намеков, – мол, кто из разбойничков будет «еть» ее первым, кто последним, что и как именно они сделают с нею. Грубые, мерзкие выражения уже не оскорбляли ее слуха. Но настойчивость рыжебородых была поразительна! Причем они постоянно повторяли, что, натешившись, Машу сразу же отпустят, зла против нее они не держали никакого, и постепенно вся их неуголеная алчность обратилась в злобу против княжеского егеря, коего они признали в Григории, – видать, успел он им крепко насолить, уничтожая самострелы!

И мало-помалу зазвучали новые речи: ждет Григория самая лютая казнь, когда удастся проникнуть в дом, но если «девка-красавица» выйдет к ним сама, добровольно, то ему только дадут раза по морде – и тоже отпустят. И опять, и опять твердили это, снова и снова, однообразно, тупо, докучливо, словно разъяренные осы; жаль только, что от их криков нельзя было отмахнуться, как от надоедливой мушкетерии.

– Погубят они нас, – вдруг тихо сказал Григорий, не отрываясь от щелочки, в которую следил за разбойниками. Это были первые слова, что он произнес за долгое время, и Маша медленно перевела на него опухшие от слез глаза. – Сушняк, хворост носят...

Маша с трудом встала на затекшие ноги и припала к другой щелке.

И верно – действия разбойников не оставляли сомнения в их намерениях! Видимо, отчаявшись вышибить двери и окна, которые словно бы и впрямь были заранее рассчитаны на долгую осаду, ватажники решили выкурить добычу, как бортники выкуривают из гнезда лесных пчел. Они обкладывали сушняком стены избушки, оставляя, однако, свободной полосу на крыльчке – на тот случай, если осажденные решат, наконец, сдаться.

Маша следила за спорными движениями разбойников, за мельканием одинаковых соломенно-рыжих голов, напоминающих охапки сухого липового лыка, – в этой одинаковости было нечто завораживающе-жуткое! – и все яснее понимала ужас и безнадежность своего положения. Ох, не миновать, по всему выходит, не миновать ей сей горькой чаши! Верно, бог решил наказать ее за блудные желания – вот и наслал на нее такую напасть.

Да, пришло время расплаты за греховные мысли, недопустимые для девушки ее возраста и положения. Не смешно ли, что гордячка графиня, отвергшая любовь егеря потому, что он ей не ровня, теперь достанется грязным мужикам? И поделом, поделом ей!

Маша уткнулась лбом в сырое дерево.

Сама погибнет и Григория погубит. Его-то за что? Он-то чем здесь виноват?! Разве только тем, что появился на тропе не вовремя, помешал тому мужику взять свое. Не появись тогда Григорий, разбойники, натешившись, уже ушли бы, кинув свою игрушку, и только Машино дело было бы выбирать – идти сразу топиться в болото или попытаться жить; но только она одна была бы жертвою! А теперь... Экая глупость! Уж лучше бы ей тогда, под яблонями, упасть на траву с Григорием, отведать этой запретной сладости, чем теперь отдать свое нетронутое девичество на растерзание рыжебородым чудищам!

– Ну, вот чего, голубки! – бросив у крыльца новую охапку сухих листьев, проревел высокий, статный мужик, верно, предводитель разбойников, может быть, даже сам Честной Лес. – Вы там еще поворкуйте, посоображайте, а мы покудова пообедаем чем бог послал. Но глядите! Лишь только последний кусок проглотим, так за вас и примемся! – На последних словах он вдруг дал петуха, закашлялся, и Маша подумала: какие странные голоса у всех этих разбойников – какие-то утробные, ненатуральные, словно бы они нарочно стараются говорить таким страшным басом!.. Впрочем, сия никчemuшная мысль тут же и ушла. И Маша тоскливо задумалась о своей участи, с которой постепенно начинала смиряться.

Сведения ее о злободетстве были весьма неопределенны, воображаемые сцены далеки от действительности, однако она нередко слышала – краем уха, конечно, таясь! – рассказы дворовых девок о том, как Симку, Ньюку, Ольку ли какую-нибудь «ссильничали» то ли после посиделок, то ли в лесу, когда отбилась от подруг. Ну а уж о пугачевцах до сих пор ходили рассказы, как они целыми отрядами брали баб да девок без разбору, что богатых, что бедных. И ничего! Ни разу не слышала Маша о том, чтоб какая-то девка утопилась или удавилась с горя! Насильничанье было, конечно, обстоятельством позорным, да как-то забывалось в деревенском обиходе, ну а уж если о нем никто не знал, если молчали обидчик и жертва... Маловероятно, что слух о происшествии с Машею дойдет до Любавина: ну, поймали мужики непотребно девку, да и пошли своей дорогою. И если ей удастся перетерпеть боль и унижение, все скрыть, смолчать – тогда, может быть, удастся когда-нибудь все забыть!.. Она взмолилась богу, отчаянно выторговывая у него две уступки: остаться бездетной после этой ужасной случки и жизнь Григория.

На миг улыбка надежды тронула ее запекшиеся от слез губы, но тут сдавленный голос Григория прервал ее задумчивость:

– Не бывать этому, пока я жив, поняла?!

Маша встрепенулась. Григорий стоял перед ней подбочась, гневно сверкая глазами.

– Ты что же это задумала? – прошепел он. – Себя, как тряпку, этим подлюгам кинешь, а мне как потом жить? Нет уж, будем пробиваться с боем!

Он выхватил охотничий нож, и слезы вновь навернулись Маше на глаза, так бесконечно дорог был он ей сейчас в своей безрассудной, безнадежной отваге! Она не питала никаких надежд на спасение, но как согрело сердце это желание Григория: лучше умереть – однако не покупать жизнь ценою ее позора!

Она глядела на него с восхищением, тихонько всхлипывая, но не замечая слез. А он вдруг отшвырнул нож, шагнул к Маше и порывисто обнял ее, уткнувшись в корону растрепанных кос.

– Бедная моя, милая! – зашептал он прерывающимся шепотом, и Маше показалось, что Григорий с трудом сдерживает слезы. – Красавица моя, желанная! Что гоношусь-то я попусту? Ну, одного уложу из этих нехристей, ну, другого... Нет, не сладить со всеми пятью! Не миновать мне лютой смерти, а тебе, моя лебедушка белая, их грязных лап! Ох, судьба, ох, кручина!

Он отчаянно замотал головой и со стоном вновь уткнулся в Машины волосы.

– Что ж, знаю, живут девки и после таких надругательств, а как подумаю, что тебя, милую, нежную, яблочко сладкое, да недозрелое, первым отведают мужло премерзкое!.. Я, я мечтал об том денно и ночно, жизнь бы за то отдал, не задумываясь... – Он задохнулся.

Маша стояла недвижно, только сглотнула комок, закупоривший горло. Как легко стало вдруг у нее на сердце! Конечно, Григорий прав, прав. Ей будет куда легче выдержать злое насилие, если первым будет у нее он – нежный, любящий, любимый! Да, в это страшное мгновение Маша истинно любила Григория, и это помогло ей поднять голову и коснуться губами его губ.

Он задрожал весь, и сердце его заколотилось так, что передало трепет свой Машиному телу. Она враз забыла, что этот шаг ее – всего лишь уступка злой судьбе, и ощущала одно лишь желание, такое же пламенное, как и то, что сжигало Григория.

Губы их слились, но Маше приходилось приподниматься на цыпочках, поэтому Григорий легко приподнял ее и, шагнув в сторону, посадил на грубо сколоченный стол. Теперь лица их оказались на одном уровне, и Маша так самозабвенно отдалась бесконечному, сладостному поцелую Григория, что даже не замечала, что его руки осторожно подняли ее юбки и гладят ноги, поднимаясь все выше и выше колен, ласково, но настойчиво вынуждая ее подчиняться. Она сидела, он стоял перед ней; и вдруг какое-то резкое, непонятное движение его заставило Машу откинуться на локти, вскрикнув от боли. Но Григорий, не отрываясь от ее губ, навалился сверху, тяжело дыша, больно придавливая Машу к неструганому столу. Это было нестерпимо, она мечтала только об одном – вывернуться, оттолкнуть его, но он словно пригвоздил ее к доскам, и губы его уже не были нежны – как и в первый раз, он искушал ее губы в кровь.

Наконец Григорий оторвался от нее, но еще какое-то время стоял, опираясь на стол и тяжело дыша.

Она медленно подняла отуманенный взгляд, уставилась в лицо Григория, ожидая найти в нем отсвет прежней нежности и любви, но черты его были безразличны. Рот вдруг расплылся, и Григорий сладко, с подвывом зевнул.

– Ух, вздремнуть бы сейчас! – с усилием выговорил он. – Ох, мочи нет! Ноженьки подкашиваются! – Он засмеялся, отвернувшись от Машиного испуганного взгляда. – Ну что, вздремнем чуток? Отдохнешь – или сразу пойдешь к мужикам, пока печурочка не остыла?

Маша смотрела на него, не веря своим ушам.

Что он такое говорит? Куда девался тот Григорий, который несколько минут назад готов был жизнь за нее отдать? Этот – другой: сытый, торжествующий... И это не было торжеством счастливого любовника, наконец-то вознагражденного. Сей безродный приемыш наслаждался как личным реваншем тем, что обладал графиней! Да он и пальцем не шевельнет, вдруг поняла Маша, когда ватажники распнут ее на этом же самом столе! Отсидится в уголке, а не то улизнет втихаря!

Эта догадка была так ужасна, так позорна, что силы вдруг вернулись к Маше. Нет, Григорий и не собирался драться с разбойниками! Он просто хотел получить с Маши свое, а что будет с нею потом – ему безразлично.

И ей вдруг тоже стало все безразлично.

– Не надейся, что тебе все это с рук сойдет, – процедила Маша. – Я им расскажу, как ты меня первым взял, как обманом тб получил, что им досталось бы. А потом, когда вернусь в имение, скажу князю, чтоб тебя плетью драли, пока не издохнешь!

Но Григорий не слышал ее последних слов. Он хохотал, покатывался со смеху, с трудом выталкивая из себя слова:

– Им рас-скажешь? Мол, я первым был? Им бы досталась?! Ох, не могу! Нашла, чем пугать!

И он снова залился смехом, да таким громким, что Маша не сразу расслышала крики за стеной, а потом – выстрел. Выстрел!..

Маша враз ожила, кинулась к окошку, рванула ставень и высунулась, не думая об опасности, уже почти зная, что увидит! Она в глубине души все время надеялась: добежит Эрле до дому, увидят ее без всадницы – и поймут, что беда приключилась, и, зная, по каким тропам любит ездить Маша, бросятся искать ее. И вот, вот же...

Верхом на Звере, с пистолетами в обеих руках, сабля за поясом, управляя только коленями, Алексей вылетел на поляну, отчаянно выкликая имя сестры. Разбойники в панике метались вокруг избы.

– Я здесь! Я здесь! – закричала Маша, смеясь и плача одновременно.

Алексей выстрелил дважды и, отбросив пистолеты, выхватил саблю. Два разбойника упали замертво, третий юркнул в кусты. Оставшиеся двое носились по поляне, уворачиваясь от сабли Алексея и от страшных копыт Зверя. Одного достал Алексей, второго сшиб конь. Первый разбойник лежал недвижимо, залитый кровью, а другой, привстав на колени, вцепился в свою рыжую, косматую шевелюру и... вдруг сдернул ее с себя вместе с бородой.

– Барин, помилосердствуйте! – выкрикнул он в ужасе. – Это я! Павлуха!

Алексей успел осадить коня и ошеломленно смотрел в лицо парня, который оказался вовсе не рыжебородым злодеем, а перепуганным, русоволосым и кудрявым егерем из команды Григория.

* * *

Алексей еще оставался неподвижным, а в Машином обостренном страданиями уме вмиг сложилась и обозначилась вся зловещая картина предательства, замышленного и осуществленного Григорием. Но думать об этом сейчас не было времени. Она метнулась к двери и с неожиданной силой отодвинула в сторону засов, успев выскочить на крыльцо прежде, чем Григорий опомнился и кинулся вслед.

Алексей увидел ее и невольно ослабил крепко натянутый повод. Зверь не удержался в дыбках и обрушил передние копыта прямо на голову Павлухи, с хрустом проломив ее.

У Маши подкосились ноги, она покачнулась – и упала бы, когда б не поддержал под руку Григорий. Но хватка его была жестока, немилостива, и пуще боли в заломленной руке отрезвило Машу ледяное прикосновение стали к горлу.

– Стой тихо, – прошептал Григорий, и она замерла.

Вид сестры, застывшей на крыльце с обнаженной грудью, в рваной юбке и с лезвием у горла, потряс Алексея еще пуще, чем смерть Павлухи.

Он осадил коня и тяжело слез с него, выронил саблю, но даже как бы и не заметил этого, а медленно побрел к избышке, безоружный; и когда Маша поняла, какую великолепную мишень

представляет сейчас ее брат, она невольно застонала. Этот жалобный стон и вырвал Алексея из оцепенения.

Остановившись в двух шагах от крыльца, он крикнул властно:

– А ну, пусти-ка ее, Гринька!

Это полузабытое, детское, пренебрежительное прозвище заставило Григория на миг потерять уверенность в себе. Нож в его руке дрогнул, опустился... но только на миг. Григорий тотчас овладел собою и держал Машу по-прежнему крепко.

Алексей покачал головой.

– Что ты с ней сделал, тварь? – тихо спросил он.

Григорий прошипел-просвистел в ответ сквозь стиснутые зубы:

– Что хотел, то и сделал.

Алексей на миг зажмурился, но, когда открыл глаза, голос его звучал по-прежнему холодно и спокойно:

– Как же смел ты решиться на такое лютовство? Или не знаешь, что ждет тебя за это?

– Как – что? – ухмыльнулся Григорий. – Под венец графиня молодая со мной пойдет, чтоб позор свой прикрыть. Статное ли дело – распечатанной девкою остаться?

Брат и сестра обменялись взглядами, и Алексей сказал то, что прочел в ее глазах:

– Да она скорей умрет, ты разве не понимаешь?

В его голосе была такая печаль, что Григорий вдруг понял: а ведь это правда! И, потрясенный, перевел дыхание, не в силах поверить, что рушится такая хитрая его задумка.

– Меня на сие любовь подвигла. Разве может быть любовь виновата? – выкрикнул он фальшиво, и эти слова были Маше как нож в сердце.

– Любовь?! – в ярости закричала она, рванувшись и не замечая, что лезвие слегка чиркнуло ей по шее и тоненькая струйка крови потекла на жалкие лоскутья, едва прикрывавшие грудь. – Любовь тебя подвигла меня обманом взять? Любовь подвигла сговорить ватажников Честного Леса напасть на меня, а потом стращать блядными словами и непотребствами смущать?

Она осеклась, потому что Григорий вдруг каменно замер за ее спиной, словно бы даже дышать перестал, а черты Алексея исказились страданием.

– Опомнись, сестра, – с болью выговорил он, не сводя глаз с лица затаившегося Григория и читая по нему, как по книге. – Да ведь он сам и есть атаман Честной Лес!

* * *

Нет, не может быть, невероятно! Это слишком страшно, чтобы быть правдой!

У Маши подогнулись колени, но Григорий не выпускал ее руки, заставляя стоять, и она слышала его тихий, торжествующий смех. Да, изрядно потешил его тщеславие молодой князь, не сумев скрыть своего ужаса!

– Какие же мы дураки были, какие глупцы! – Алексей схватился за голову и в отчаянии покачивался из стороны в сторону. – Искали браконьеров?! Как же! Напоролись на самострелы?! Где там! Это вы напали на Орликовых, Никишку там и подстрелили до смерти! Вот почему ватажники унесли мертвого – опознали б его, вам бы сразу конец... Хитро, хитро все придумали.

– Хитро, верно, – прохрипел Григорий. – Востер я, сам знаешь.

– Знаю... знаю... – Голос Алексея вдруг задрожал, и Маша увидела перед собой не сурового мстителя, каким он был мгновение назад, а растерянного, обиженного мальчишку. – Ну зачем, зачем ты это сделал, братан? Зачем?!

Алексей сейчас, наверное, вспомнил, кем был для него Гринька-Григорий последние пять лет, и сердце его разрывалось от горечи и недоумения: «За что, почему сие содеяно?»

Слезы блеснули в его глазах, и Маша тоже невольно всхлипнула, вспомнив широкую дорогу от Ново-Измайловской усадьбы и двух мальчишек, бежавших по ней, взявшись за руки.

Однако Григорий, видно, нимало не страдал от воспоминаний, потому что голос его был сухим, чужим:

– Зачем, говоришь? Рад буду пояснить, брате-ельник! – Он насмешливо растянул это заветное для Алешки слово. – Только сперва ты мне ответь: что такое Честной Лес, что сие значит?

Алешка передернул плечами:

– Ты сам не ведаешь, что ли?

– Говори давай! – вскричал Григорий, с необъяснимой внезапностью впадая в ярость и укалывая Машу острием своего ножа.

– Леший. Честной Лес – так лешего в народе зовут, – подсказала она растерявшемуся брату.

И тот послушно повторил:

– Леший... А и впрямь – говорили, что ты сын лешего, больно уж свой в лесу!

– Тепло, тепло! – вскричал Григорий, словно при игре в горелки. – А какими еще словами лешего называют?

Он возбужденно дергал Машу, едва не выламывая ей руку из плеча, и брат с сестрою наперебой выкрикивали, в ужасе уставясь друг на друга:

– Лешак!

– Лесной барин!

– Дикарь, дикийный мужичок!

– Ну, еще, еще! – азартно кричал Григорий.

– Негодный!

– Щекотун!

– Вольной!..

– Вот! Вот именно! – взревел Григорий – и крик его внезапно оборвался рыданием. – Вольной...

Алеша глядел по-прежнему недоуменно, а у Маши холодок прошел по спине.

В отличие от младшего брата, она немало наслушалась от княгини Елизаветы рассказов о былых ее приключениях и прекрасно знала, сколь дорог был ей в молодости разбойничий атаман по кличке Вольной. А как же его звали? Ох ты, господи... Да ведь звали его Григорием!

Почувствовав, как дрожь охватила ее тело, Григорий понял, что она обо всем догадалась.

– Вот так вот, графинюшка моя молодая, – протянул он с издевкою. – Княгиня Елизавета когда-то мою мать, горничную свою, из дому брюхатую выгнала за то, что Вольной барыне служанку предпочел. Где она свою голову сложила – никто не знает. Меня тетка вырастила, сестра материна. Она-то мне все про графьев Строиловых и поведала, всю подноготную!

Его хихиканье перешло в истерический смех, заменивший злые слезы этому сожженному, измученному мстительностью существу.

– Это все я сделал! Я – Честной Лес, сын Вольного! – кричал он, не то рыдая, не то хохоча. – Все – я! И там, в Ново-Измайлове. И деда вашего на засаду навел... и погреб Силуянов отворил, чтоб Илюшка Аристов вас нашел. А когда ты, брательничек, убежал, я уже знал к тому времени, что Михельсонов отряд близок, вот и решил тебя как бы спасти, чтоб к семейству вашему поближе подобраться. Вот вам всем от меня! Вот вам всем!..

Маша едва не оглохла от этих безумных воплей возле самого ее уха; страх и внезапность этих ужасных саморазоблачений лишили ее последних сил, а потому она не сделала даже попытки сопротивляться, когда Григорий вдруг сорвался с крыльца, толкая ее перед собой, и,

прежде чем Алешка успел ему помешать, подбежал к Зверю, одним махом забросил в седло Машу, а сам вскочил сзади на мощный круп.

Зверь взревел не лошадиным, а каким-то медвежьим ревом, осел на задние ноги, пытаясь сбросить седоков, но это ему не удалось. Григорий, яростно оскалясь, кольнул коня в бок ножом, и тот с места взял такой рысью, что, чудилось, содрогнулась земля.

Сначала они кружили по поляне – Григорий никак не мог справиться с поводьями, и Маша, вцепившись в гриву коня, краем глаза увидела, как из лесу на свист Алексея выбежала Эрле – значит, он нашел ее в лесу, она не успела добежать до Любавина, – вот почему Алексей появился один! Вмиг оказавшись в седле, Алеша погнал Эрле вслед за Зверем, но как ни резва была золотистая кобылка, ей не под силу оказалось даже приблизиться к Зверю, разгоряченному болью и страхом.

Алексей что-то отчаянно кричал, но Маша не слышала, не понимала. Ей казалось, что Григорий сошел с ума: круто заворотив коня, он направил его в самую болотину, туда, где жутковато колыхались серые, сотканые из тумана фигуры.

Почувяв опасность, Зверь враз присмирел, притих и ступал осторожно, направляемый Григорием точно в те места, которые только и были безопасны в этой гиблой трясине, кое-где утыканной островками-кочками.

Зверь сделал шаг, и другой, и десятый, обрызгивая мох илом; а Эрле, почувяв неуверенность своего всадника, заартачилась на берегу, не пошла в болото. Алексей зажал рукою рот, сдерживая крик ужаса, понимая, что сейчас любое неверное движение Зверя может стать роковым для его сестры, и молясь лишь о том, чтобы Григорию удалось выбраться из болота, хотя как потом отыскивать его, как спасти Машу, было невозможно представить.

Но крик все-таки вырвался у него, когда перед Зверем вдруг громко лопнул болотный пузырь. Коротко заржав, до одури перепуганный конь завертелся на месте, так что по бабки ушел в воду, а Григорий, сидевший у него на крупе, соскользнул в болото; Маша же удержалась только потому, что легла на шею коня, словно слившись с ним своим телом.

Алексей стоял ни жив ни мертв, глаза его были прикованы к сестре. Он знал, что, когда свирепый конь разойдется, его не уймешь: ярость туманила его разум! Надо было ожидать, что Зверь, расшвирипев, станет кидаться, метаться, соскочит в конце концов с потайной тропы, погибнет сам и погубит Машу. Однако ярость коня вмиг остыла, когда он сбросил с себя ненавистного Григория. С необыкновенной осторожностью, мелко переступая, он развернулся почти на месте и в два легких, невесомых скака достиг берега. Здесь, правда, он поскользнулся, упал на колени – но, чудилось, сделал это нарочно: для того, чтобы Маше было удобнее слезть с него, – точнее сказать, удобнее Алеше разомкнуть онемевшие руки сестры и стащить ее с коня.

Несколько мгновений брат и сестра сидели обнявшись, мешая беспорядочные, бессмысленные слова и слезы, как вдруг странный, протяжный звук заставил их оторваться друг от друга и взглянуть на болото.

Это был крик большой, мохнатой, ржаво-желтой птицы, покрытой бурыми пятнами, с торчащими над ушами пучками перьев и черным крючковатым клювом. Медленно пролетев над водой, едва не касаясь ее размашистыми крыльями, болотная сова взгромоздилась на чахлую, уже полумертвую сосенку и опустила взор своих желто-стеклянных, немигающих глаз на небольшую кочку, цепляясь за которую в болоте бился человек. Григорий...

Он был уже весь покрыт черно-зеленой болотной грязью – верно, Зверь сбросил его в самую топь, в такую зыбь, откуда даже лешему не так-то легко выбраться. И немало, должно быть, затратил он не замеченных Алексеем и Машею усилий, пока не добрался до этой кочки и не вцепился в нее, переводя дух.

Брат и сестра, крепко схватившись за руки, смотрели на него, и эти три перекрестившихся взора, чудилось, способны были высечь искры даже из сырой, насыщенной гниlostными

испарениями мглы, висевшей над болотом. Но ни Алексей, ни Маша не шелохнулись, чтобы подать хоть какую помощь гибнущему егерю – хоть слегу¹⁹ протянуть: мольба, вспыхнувшая было в его глазах, исчезла, уступив место прежней ненависти.

Он покрепче ухватился за кочку, подтянулся, с видимым усилием вытягивая тело из черной жижи, – да так и замер, уставясь куда-то расширенными глазами; но Маша с Алексеем не сразу разглядели, что же произошло; да и потом какое-то мгновение думали, будто глаза их лгут, ибо им почудилось: болотные травы вдруг ожили и медленно, осторожно поползли по рукам Григория.

Но то были не травы, а змеи.

Змеи...

Черные болотные гадюки и зеленые ужи, коих гнездовище было на этой кочке, потревоженные отчаянными усилиями Григория, накинулись на непрошеного гостя... но отнюдь не для того, чтобы опробовать на нем свои жала и ядовитые зубы. Нет! Они словно бы даже рады были этому человеку, и, увидав, как беспечно снуют змейки по рукам и плечам Григория, Алешка вспомнил все слухи о его загадочной власти над болотными гадами и о взаимной между ними приязни. Теперь он сам видел, насколько правдива была болтовня егерей, но сие зрелище оказалось столь омерзительно, что Маша с трудом сдержала спазм рвоты и отвернулась.

Алексей же смотрел да смотрел и с изумлением заметил, что, едва змеи вползли на Григория, тот перестал биться, а замер, по-прежнему держась за кочку, но больше не делал попыток выбраться на нее. И Алексей вдруг сообразил, что Григорий оказался на страшном, погибельном перепутье: продолжая отвоевывать себе пространство на кочке, он рисковал так раздражить змей, что они могли позабыть о своей к нему симпатии, разозлиться и закусать до смерти; а оставаясь недвижимым, чтобы задобрить их, он неизбежно будет затянут в топь. Спасения с этого перепутья не было, и Алексей, обожженный внезапной жалостью, вдруг закричал:

– Гринька! Братан! Держись!

Он рванулся, и Маша, вцепившись в брата, лишиться поддержки коего боялась хоть на миг, обернулась к болоту. Увидев голову Григория – только она одна теперь торчала из воды, оплетенная змеиными телами, словно вся проросшая страшной, шипящей, извивающейся травой, – поймав его уже безумный взор, Маша сникла наземь, погружаясь в милосердное беспмятство. Но к Алексею судьба не была жалостлива, и ему пришлось увидеть, как названный брат его Григорий, разбойный атаман по кличке Честной Лес, с протяжным, нечленораздельным криком вдруг сам резко погрузился в черную воду с головой. Змеи порскнули прочь, расплылись по болоту, вновь забрались на свою обжитую кочку, и только множество мелких пузырьков на этом месте еще долго толклись, лопались, снова появлялись, словно душа человеческая рвалась, рвалась из топи, да так и не смогла вырваться на вольный белый свет.

¹⁹ Жердь.

6. Наилучший способ спастись от обморока на балу

– Акулька Ульки не хуже! – воскликнула княгиня. – Акулька Ульки не хуже – так вот что это значило!

Елизавета уткнулась в ладони, еле сдерживая слезы. Эти странные, как бы в бреду произнесенные слова Татьяны теперь непрестанно приходили ей на ум. Почему, ах, почему она была так забывчива, не обратила внимания на имя своей бывшей горничной?! И сходство между Гринькою и Вольным теперь казалось очевидным, однако же прежде Елизавета не замечала ничего знакомого в этих прищуренных зеленых глазах. Слепа, глуха, бесчувственна, неосторожна!.. Однако же и Татьяна... почему смолчала? Поведение Татьяны было необъяснимо, но зачем сейчас тревожить ее память подозрениями и упреками? Да и сестра Улькина, Акулька, передавшая Григорию свою ненависть к Елизавете, – ее тоже нет в мире живых. И Вольного давно нет, а теперь – и Григория. «Из болота он пришел – в болото и сгинул, этот леший», – суеверно твердила Елизавета, вспоминая свою первую встречу с Вольным, вспоминая Григория; и образы двух зеленоглазых разбойников, отца и сына, сливались воедино в ее воображении. «Сгинул – и конец! И надо забыть о нем скорее!»

Елизавета, увы, также успела забыть, как умеет насмехаться над людьми судьба. Конца сему делу не предвиделось, но об том пока никто не знал.

Даже со своим целительным умением отмахиваться от любых неприятностей, упрятывать их на дно памяти, чтобы не мешали жить, Елизавета теперь никак не могла сказать дочери свое любимое: «Все, что ни делается, – делается к лучшему!»

Без памяти любившая всю жизнь только одного человека – князя Алексея Измайлова, Елизавета тем не менее по прихоти судьбы или по своей воле не раз сворачивала с торного пути, поэтому, слюбись ее дочь с Григорием по сердечной склонности, княгиня Измайлова, обнимавшая в своей жизни и графов, и ханов, и табунщиков, не выказала бы ни малейшего кастового негодования. Но эта подлая, расчетливая ловушка, в которую попала Машенька!.. Вот что возмущало, вот что доводило до иступления! Князь же Алексей выходил из себя до такой степени, что сердечный припадок едва не уложил его в постель; бесился от неизжитой, хотя и тайной, невысказанной ревности к отголоскам бурного прошлого жены, а еще пуще оттого, что теперь никак, ну никак, хоть душу дьяволу заложи, не отомстить этому вражьему отродью! Хотя, впрочем, смерть Григория была так страшна, что сама по себе указывала на высшую справедливость.

Теперь главным было помочь Маше забыть о надругательстве как можно скорее. Князь Алексей желал бы примерно наказать хотя бы семьи егерей, принимавших участие в издевательствах над дочерью: самих-то их было уже не достать – всех положил неистовый Алешка! Однако Елизавета сему замыслу решительно воспротивилась. Ее быстрый, по-женски практический ум и любящее сердце подсказали: тайна – вот лучшее лекарство для Машеньки, вот лучшее средство поскорее позабыть случившееся! По счастью, в усадьбе и в деревне никто не видел, как Алешка в сумерках привез домой беспмятную сестру. У него хватило сообразительности не тащить ее сразу в дом, на обзор и оханье вездесущих девок, а спрятать в саду, в шалаше, где держал свой мастеровой припас садовник, и вызвать к ней отца с матерью. Машу привели в чувство, переодели, она под руку с братом неторопливо вошла в дом – и благодаря наследственной гордости и силе духа колени у нее даже не подгибались.

Дворне было сказано, что молодая графиня упала с лошади и расшиблась. Ни слова не произнесли о кровавой расправе возле охотничьей избушки; а гибель Григория – он просто сгинул бесследно. Однако князь Алексей распустил слух, что его приемыш уехал в подмосковное Измайлово с важным и срочным поручением – настолько срочным, что даже не простился

ни с кем. Возмездие ватажникам Честного Леса тоже надлежало сохранить в тайне: ведь ими оказались пять любавинских егерей, это бросило бы страшную, позорную тень на семью князя Измайлова, да и истинная роль Григория могла сделаться ясной какому-нибудь ушлому здравомыслу. Под покровом ночи, содрогаясь от омерзения и ненависти, отец и сын сунули пять мертвых тел в болото, которое уже поглотило их атамана; перекрестились, постояли несколько мгновений, глядя в черную, чавкающую мглу, и крепко обнялись.

Елизавета, немало перенявшая у старой цыганки в искусстве врачевания, осмотрела дочь и с облегчением вздохнула: телесному здоровью ее излишнего ущерба нанесено не было. Речь могла идти лишь о здоровье духовном, но и тут судьба помиловала Машу: созерцание повитой змеями головы Григория оказалось столь потрясающим, что даже затмило воспоминания о насилии. Теперь, думала Елизавета, надо так повернуть дочкину жизнь, чтобы новые, радостные впечатления как можно скорее прогнали страшных призраков.

Наскоро посоветовавшись с мужем, Елизавета порешила: непременно свезти Машеньку в северную столицу. Ехать хотели все вместе, однако судьба велела иначе: из Петербурга прибыл курьер, доставивший князю секретное предписание императрицы выполнить их уговор и немедленно выехать в Киев, а оттуда, через Вену, – в Сербию и Черногорию с ответственной дипломатической миссией.

Алексей Михайлович решил отправиться с сыном, полагая, что и его уже пора приобщать к делам государственным.

Вот так и вышло, что через десять дней после рокового приключения возле охотничьей избушки от Любавина в разных направлениях отъехали: на юг, по Арзамасской дороге, в легкой, спорой карете, – два князя Алексея, а в северо-западном направлении – княгиня Елизавета с дочерью.

* * *

Ехали быстро, потому что почти на всех почтовых станциях у Измайловых были свои подставы. Отдыхали только по ночам и уже через неделю приблизились к Санкт-Петербургу.

Увлечшись, Елизавета уже видела в мечтах роскошную петербургскую гостиную: бойкий говор, французская речь, гармонические звуки гобоев и клавесинов, скользящие по паркету легкие, грациозные пары, танцующие менуэт. Но царица общества, притягивающая к себе взоры, – она, юная графиня Строилова, кареглазая, русоволосая, высокая и тонкая, с белыми плечами и сверкающим взором, – она на первом месте, окруженная благоговением и поклонением, утонченной лестью и тайными признаниями. Елизавета мысленно перебрала всех воображаемых поклонников и выбрала для Маши самого богатого, самого красивого, самого доброго – они полюбят друг друга, конечно же, с первого взгляда и на всю жизнь! Она мысленно пролила слезу на их венчании, мысленно перекрестила закрывшуюся за ними дверь почивальни...

Но тут грубое прикосновение реальности развеяло блаженные мечты. Легкий стон донесся с сиденья напротив, и Елизавета, встрепенувшись, увидела, что ее дочь, бледная в прозелень, словно бы на нее бросали отсветы тяжелые складки того самого богатого платья, в коем ей предстояло покорить Санкт-Петербург, полулежит на подушках, дрожащей рукой пытается пошире открыть окошко.

– Что случилось? – воскликнула Елизавета, а Маша едва успела выговорить: «Меня укачало» – и ее вырвало, к счастью, на пол.

Пришлось остановиться у придорожного ручья, мыть, чистить, проветривать карету. Пока слуги трудились, мать с дочерью вышли, раскинули на солнечном припеке теплые пледы, прилегли. Постепенно Машино лицо вновь обрело краски, она даже решилась съесть яблоко.

Елизавета ругательски ругала себя за то, что, стремясь как можно скорее увезти дочь от прошлого, забыла про ее слабость: Маша всегда плохо переносила дорожную тряску. И то диво, что за неделю пути ее лишь первый раз укачало.

Нет, надобно немедленно устроить для нее передышку. Решительная княгиня готова была расположиться на ночлег прямо здесь, да вот беда: поднимался ветер, собирались тучи к дождю, и предстоящий ночлег в чистом поле сулил больше хлопот и неудобств, чем радости. Надо было все-таки добираться до постоянного двора.

Если не изменяет память, в версте отсюда находится вполне приличный трактир. Елизавета отправила карету и слуг вперед – спросить комнаты да заказать ужин, а сама с дочерью отправилась пешком (один вид дормеза вызвал у Маши спазм!).

Вот и трактир приблизился. Вошли в чистый, выметенный двор, окруженный конюшнями, поднялись на крыльцо. Дом был невелик – в пять комнат, одна из которых была общей столовою, вторая – стряпка; две другие отдавались подряд всем заезжим, а последняя, подороже ценою, приятно убранная, предназначалась для богатых проезжающих, желавших ночевать отдельно. На эти покои и рассчитывала Елизавета, и каково же было ее огорчение, когда горничная Пелагея, встретившая княгиню у ворот, поведала, что комната занята какой-то важной дамою.

Решительная Елизавета, конечно, отправилась бы дальше, на почтовую: подумаешь, четыре часа пути! Но Машино недомогание? Но тяжелые тучи, которые уже бились одна о другую, глухо ворча?... Она растерянно застыла на пороге, как вдруг Маша, мгновенно побледнев, привалилась к стенке... сползла по ней... села, пытаясь поднять голову, – да и завалилась неловко на бок.

Пелагея завопила, как резаная, а Елизавета рухнула на колени перед дочерью и сжала ладонями ее бледное, похолодевшее лицо с закатившимися глазами. Она пыталась позвать Машу, уловить стук ее сердца, но Пелагея вопила, будто по покойнику, и ничего нельзя было понять от этого крика.

Но вдруг раздался резкий звук пощечины, и суровый женский голос проговорил:

– Silence, merde!²⁰

Конечно, Пелагея ничегошеньки не поняла, и немедля умолкнуть ее заставила только пощечина; Елизавета же, мало привычная к подобному обращению с крепостными, с изумлением обернулась, но разглядела в проеме двери лишь темный силуэт с непомерно большой и какой-то вихрастой головой и столь широкой юбкою, что она вовсе перекрыла вход. И эта странная фигура, подбочась, рывкнула на куафера Данилу:

– Чего стал, чучело огородное? А ну, бери барышню, неси в покои!

– Так ведь свободных нетути... – пискнула Пелагея, но незнакомка так грозно взглянула на нее, что горничная с перепугу оступилась и слетела с крыльца.

Данила же легко поднял Машеньку и проследовал через весь трактир за властной барыней. Елизавета, не чуя ног, поспешала следом.

Вся процессия ворвалась в комнату, благоухающую духами, и Данила осторожно уложил барышню на диванчик. Незнакомая дама быстро что-то сказала по-французски; из-за занавески выбежала молоденькая хорошенькая девушка в кокетливом платьице и передничке и проворно засуетилась вокруг Машеньки с горячими салфеточками, льдом и какими-то пузырьками.

Елизавета сунулась было к дочери, но незнакомая дама взяла ее за руку:

²⁰ Молчи, дерьмо! (фр.)

– Успокойтесь, *madame*. Моя камеристка отлично знает свое дело. Умоляю вас, поверьте: обморок вашей дочери тотчас пройдет!

Елизавета, сморгнув слезы, обратила на даму признательный взгляд – и невольно замерла от изумления. Право же, особа, стоявшая перед нею, имела внешность презамечательную!

Было ей, верно, за пятьдесят, однако волосы ее оказались не седыми, как можно было ожидать, а густо напудренными фиолетовой пудрой и уложенными в виде округлой корзины, в которой колыхалось множество цветов, – правда, несколько примявшихся. Ручка корзины, также сплетенная из волос, была вдобавок повита перьями. Данила, известный своим куа-ферским искусством, разинув рот, завистливо смотрел на сие произведение. Да и Елизавета на какое-то мгновение забыла обо всем на свете, даже о дочери; она не сводила глаз с чрезмерно декольтированного (старческая морщинистая грудь, тщательно напудренная и украшенная мушками, производила впечатление покрытых пылью античных развалин) черного платья из дивного шелка, затканного алыми розами. Благодаря чрезмерно пышным фижмам талия казалась неправдоподобно тонюсенькой. Лицо дамы, все в грубых складках, было набелено, нарумянено и накрашено, вокруг распространялся крепкий запах кармской мелиссы воды²¹. Однако умный взор больших и красивых черных глаз незнакомки заставлял забыть обо всех диковинных причудах ее туалета.

– Умоляю, – снова произнесла она, не по-русски выговаривая русские слова, – не волнуйтесь. Ваша дочь сейчас очнется. Пока же позвольте представиться. Я – графиня Строилова.

Елизавета рот раскрыла от изумления.

– Не может быть! – воскликнула она и тут же, краснея, извинилась: – Простите, сударыня, мою вольность, но я...

– Быть может, мы знакомы? – прервала дама. – Однако моя ужасная рассеянность... Прошу прощения тысячу раз! Ради бога, напомните ваше имя.

– Я княгиня Измайлова, – сделала неловкий реверанс Елизавета, – но моя дочь носит титул графини Строиловой.

Насурьмленные дуги бровей взлетели еще круче; черные глаза дамы недоверчиво раскрылись.

– Позвольте... – тихо проговорила она – и вдруг резкие, грубые черты ее как бы разошлись, разгладились: – Ах нет, не может быть! Неужели правду говорят, будто *il n'y a pas de bonheur que dans les voies communes*?!²² Вы – княгиня Елизавета Измайлова? А это несчастное дитя – ваша дочь?

Елизавета захлопала ресницами:

– Да, но каким образом...

– Дорогая *Louise*! – воскликнула дама, внезапно заключая ее в свои объятия и обдавая запахами духов, пудры и помады. – Ах нет, в это невозможно поверить. Встретиться с вами здесь, случайно?! Ведь я отправилась из Петербурга три дня назад, желая посетить Любавино и повидаться с вами и моею племянницей!

– Племянницей? – переспросила Елизавета. – Так вы...

– Ну конечно! – закивала графиня так энергично, что один цветок выпал из ее прически. – Конечно! Я – кузина вашего покойного свекра, Петра Строилова, прихожусь вам по мужу – ах, Валериан! Страдалец! – Она на мгновение приложила к глазам кружевной платочек. – Прихожусь вам тетушкой, ну а этому милому ребенку, – она экстатически воззрилась на Машеньку, которая в этот миг застонала и приоткрыла глаза, – троюродной *grand-maman*²³.

²¹ Духов.

²² Счастье можно найти только на проторенных дорогах (*фр.*).

²³ Бабушкой (*фр.*).

Хотя, конечно же, было бы гораздо приятнее, если бы и она называла меня просто *ma tante*²⁴. – И графиня, округлив напوماженный рот, добродушно хохотнула, однако тут же осеклась, с тревогою, невольно тронувшей Елизавету, оборотясь к кровати.

– Матушка, – сквозь слезы проговорила Маша, – я... ох, мне дурно!

Она поперхнулась. Проворная камеристка успела выхватить из-под кровати фарфоровый ночной сосуд и пригнуть к нему голову молодой девушки, прежде чем ее снова обильно вырвало.

Елизавета покачнулась и тяжело опустилась на табурет, очень кстати оказавшийся рядом. Теперь уже нельзя, невозможно было гнать от себя смутные подозрения, промелькнувшие у нее, еще когда они с Машею выскочили из перепачканной кареты. Нет, ах нет, не может быть!..

«Будь проклят Григорий! Вот участь моего ангела!»

Мельком взглянув на ее враз осунувшееся лицо, старая графиня Строилова схватила под локоть Данилу и в мгновение ока вытолкала его за дверь, заботливо прикрыв ее. Потом подошла к Маше, обессиленно откинувшейся на подушки, обменялась быстрым взглядом с хорошенькой субреткою, обтиравшей бледное, покрытое каплями пота лицо девушки. Наконец, взяв Елизавету за руку, мягко и деликатно проговорила по-французски:

– *Pardonnez-moi ma franchise...*²⁵ – И почему-то уже по-русски, с грубой прямою ляпнула: – Наша малютка брюхата, *n'est-ce pas?*..²⁶

* * *

Маша подняла свой пышный, страусовый *éventail*²⁷ и спряталась за ним. Мягкий запах лавандового одеколона, исходящий от веера, показался вдруг удушливым, нестерпимым. Ее внезапно замутило, и сейчас она выцарапывала из-за края перчатки мятную пастилку. Ну вот, наконец-то. Сохраняя на лице прежнее безмятежное выражение, сунула пастилку в рот, и тотчас же тошнота отступила.

Маша несколько раз обмахнулась веером и медленно опустила его. Кажется, никто ничего не заметил, а вон тот высокий полковник, с явным интересом взглянувший на одиноко стоявшую девушку, пожалуй, решил, что она с ним кокетничает, оттого и забавляется с веером. Здесь, в Петербурге, надо было держать ухо востро с такими мелочами!

Маша перевела дух, почувствовав, что спазм отпустил горло, и несколько раз взмахнула веером, освежая покрытый испариной лоб. Ну вот, к запаху духов вернулась былая приятность!

Какая благодать эти пастилки, истинное спасение для Маши! Хороша бы она была, когда б ее то и дело выворачивало наизнанку! Уж наверное, ледяные глаза полковника не смягчились бы так при взгляде на стройную девицу в изумрудно-зеленом пышном платье с кружевами цвета старой слоновой кости! Маше даже неуютно сделалось под его пристальным взором. Куда это запропастилась тетушка? Она бы сразу дала знать Маше, стоит ли глядеть на того господина благосклонно или же следует выказать ему ледяное равнодушие. С виду он очень богат, правда, старше лет на 15, но тетушка велела ей вбить в голову перво-наперво, что возраст жениха никакого значения не имеет... ибо на этих балах Маша не просто веселилась – ей срочно искали жениха.

²⁴ Тетушкой (*фр.*).

²⁵ Простите за откровенность (*фр.*).

²⁶ Не так ли? (*фр.*)

²⁷ Веер (*фр.*).

Вообще говоря, дело было вполне обычное: при элегантном и любившем роскошь екатерининском дворе многие весьма успешно ловили женихов для своих взрослых дочерей... но не так, не так виделось все это в мечтах!

Канули в прошлое матушкины намерения развлечь дочь – чтобы стерлась в ее памяти отвратительная сцена в охотничьей избушке! Теперь она не вспоминала о браке по любви для своей дочери. Любовь! Любовь – это не для Машеньки Строиловой. Честь бы ее спасти! Однако стоило тетушке заикнуться о каких-то средствах, снадобьях, как Елизавета встала на защиту нерожденного дитяти с яростью тигрицы. Прежде всего она защищала жизнь дочери, ибо не могла забыть, как одна за другой умирали в Любавине девки, пытавшиеся вытравить плод. И Маша помнила об этом; и панический страх перед болью, кровью, смертью оказался сильнее соображений благопристойности.

Тетушка принуждена была согласиться.

– Ну что ж! – изрекла она, оценивающим взором оглядев Машеньку. – Она изящна... и очень привлекательна. Можно подумать, что наилучшим образом воспитана во Франции. – В устах графини Евлалии это была наивысшая похвала. – Счастье от нее не уйдет! – И она так властно стиснула кулак, будто это самое счастье находилось у нее на службе и трепетало ее, подобно горничной девушке Николь (она была француженка) и прочей челяди.

Елизавета и Маша теперь всецело зависели от расположенности к ним старой графини Строиловой. Начать с того, что поселились провинциалки в ее премиллом особняке близ Адмиралтейской площади. Дом обставлен на французский манер, ибо тетушка полжизни провела во Франции, была принята там в самом высшем обществе, о королеве Марии-Антуанетте отзывалась запросто! Да и в России графиня была везде принята и у себя всех принимала, нисколько не сомневаясь, что рано или поздно сделает удачную партию для племянницы, попавшей в беду. Рано, только рано! Счет шел даже не на дни, а на часы, ибо Машиной беременности исполнился уже месяц.

...Снова заиграли менуэт, и какой-то мужчина склонился перед Машей, приглашая на танец.

Она безотчетно улыбнулась, присела, подала руку, досадуя на тетушку: зачем запропастилась? зачем не подает знак – тратить ли время на этого кавалера?

Под ее обнаженным локтем оказалось что-то мягкое, шелковисто-ворсистое. Маша повела глазами – рукав мундира. Ее пригласил тот самый полковник.

Мысли сделались какие-то вялые, неповоротливые. Маша вдруг поняла, что не может вспомнить, как танцевать менуэт *in quarte*, но продолжала медленно идти под руку со своим кавалером, будто обреченная. Ноги подкашивались, голова кружилась, вкус во рту был свинцово-мятный. Даже пастилка не помогла! Все ее тело словно бы расплывалось, и Маша понимала, что вот-вот лишится чувств. Все-таки не миновать ей позора – обморока на балу, и тогда уж не скрыть ее тайны и не поймать жениха, как того хочет тетушка. И все про все узнают!

Настало мгновенное просветление, но тотчас же сознание вновь заволочло туманом. Перед глазами уже понеслись бредовые, обморочные видения: Маше почудилось, будто ее кавалер, пристально поглядев на нее сбоку своими холодными светлыми глазами, вдруг точным, быстрым и незаметным движением сбил стоявший на высокой подставке канделябр; пламя охватило занавес, затейливо спускавшийся с потолка, и тонкая ткань тут же вспыхнула...

Как смешно! Какая-то парочка, скрывавшаяся вон в том укромном уголке, выпорхнула с воплями... причем декольте у дамы было отчего-то перекошенное...

Несколько мгновений Маша неотрывно смотрела на жадный пламень, летевший вверх по занавеси, подобно алой птице. Слабость ее миг прошла, вернулась острота ощущений.

«Боже мой! Надо бежать, спастись!» Маша испуганно огляделась, высматривая в толпе тетушку, и тут ее глаза снова натолкнулись на холодноватый, пристальный взгляд. Легкая улыбка тронула губы полковника, и он, сдернув со стены пылающую занавесь, ловко погасил ее с помощью тяжелого гобелена, который сорвал так легко и небрежно, словно это тоже была тонкая кисея.

Пожар был моментально потушен. Слуги бежали с кувшинами и графинами со всех сторон, однако вода уже была не надобна. Запах гари плыл по залу, лакеи бросились отворять окна: несколько дам от страха лишились чувств. «Ну, теперь и мне бы не страшно грохнуться, – подумала Маша с облегчением, – никто бы ничего и не понял!»

Однако именно сейчас она чувствовала себя превосходно! Легкость во всем теле была необычайная, безудержная веселость охватила душу. Ах, как жаль, что нельзя теперь же начать танцевать!..

Но тут, словно почуяв ее нетерпеливое желание, распорядитель бала подал знак на хоры, и оркестр вновь грянул менуэт, отгоняя все страхи.

– *Vous permettez, mademoiselle?*²⁸ – проговорил рядом звучный, уверенный голос, и Маша повернула голову.

Да, это он, опять он приглашал ее! Радостно улыбаясь, она доверчиво вложила свою ладонь в его, и какое-то мгновение они стояли, держась за руки.

– Ради бога, скажите, – вдруг выпалила Маша, забыв о приличиях, – зачем вы это сделали, сударь?!

Ее тут же бросило в жар. Что он сейчас сделает? Назовет ее лгуньей? Отвернется с холодным презрением?.. Она почувствовала, что покраснело не только лицо ее, но и шея, и грудь во всей глубине нескромного декольте. Сдаваясь на милость победителя, Маша подняла робкие, подернутые слезою смущения глаза – да так и замерла, наткнувшись на мягкую улыбку:

– Простите меня за великую вольность, но не мог же я допустить, чтобы моя дама лишилась чувств на балу!

С этими словами полковник повлек ее в круг, но, видно, не судьба им была сегодня танцевать. Откуда ни возьмись, налетела графиня Евлалия, столь бледная от еще не изжитого ужаса, что истинный цвет ее лица оказался на сей раз даже белее пудры; нарумяненные щеки на фоне этой бледности казались как бы окровавленными: тетушка сильно румянилась по тогдашнему обычаю, потому что, не нарумянившись, приехать куда-нибудь значило бы выказать свое невежество. И вот сейчас это подобие призрака затормошило Машу, восклицая бессвязно:

– Это ужасно, дитя мое! А вы... вы наш спаситель!

Графиня так неожиданно надвинулась своей внушительной фигурой на спасителя-поджигателя, что отважный кавалер невольно отступил. И тут нарисованные тетушкины брови взлетели так высоко, что вовсе скрылись под волнами взбитых кудрей:

– Барон! Возможно ли?! И вы в Петербурге? Нет, это невероятно! Всего лишь месяц назад... в Тюильри... какое *temps fortune*...²⁹ – Она внезапно умолкла, словно поперхнулась этим воспоминанием, но тут же ее быстрые глаза оглядели пару, которая так и стояла, держась за руки, и улыбка величайшего удовольствия расплылась по лицу графини Евлалии.

– Дорогой Димитрий Васильевич, – проговорила она, – знакомы ли вы с моей племянницей? Мари... мой старинный друг, барон Димитрий Васильевич Корф!

Голос тетушки был теплым, мурлыкающим: этот человек, поняла Маша, оказался той самой дичью, которую они, как две терпеливые охотницы, выслеживали на балах уже другую неделю. Но имя знакомо, да, знакомо! Маша напрягла память: бригадир Корф! Это ведь он доблестно громил пугачевские полчища в занесенных снегом оренбургских степях, он участ-

²⁸ Разрешите, мадемуазель? (*фр.*)

²⁹ Счастливое, удачное время (*фр.*).

вовал во множестве кровопролитных сражений. Сердце Маши преисполнилось еще большей благодарности. Пролепетав что-то, она улыбнулась барону и встретила ответную улыбку... Они втроем присели тут же, в сторонке. Тетушка и барон, улыбаясь, предавались воспоминаниям. Потом тетушка рассказала барону о Маше, об их родстве, о княгине Елизавете.

Не вслушиваясь более в их беседу, Маша украдкой любовалась твердыми чертами художавого, точеного лица Дмитрия Васильевича, его удлинёнными глазами цвета глубокого льда, – при встрече с Машиным взглядом они заметно теплели. Мягко выющиеся волосы Дмитрия Васильевича были зачесаны назад и слегка припудрены, но Маша видела, что виски его тронуты сединою. Весь его облик казался ей необыкновенно привлекательным. Ему никак не могло быть более тридцати пяти лет, но для Маши это был почти преклонный возраст, а потому она трепетала, сплетала ледяные пальцы, сиюсь сдержать волнение, но еще пуще выдавая его. Чтобы успокоиться, начала вспоминать, как дрогнули в улыбке эти твердые губы, как мягко, как ласково он проговорил: «Не мог же я допустить, чтобы моя дама лишилась чувств на балу!» Но вдруг холодок необъяснимого страха пробежал по ее спине при другом воспоминании – при воспоминании о том, что именно он сделал для ее спасения...

7. «Король Марк»

И вот уже позади пышное венчание в Александро-Невском соборе; и блестящий прием в доме барона, который он снимал в Санкт-Петербурге и где Елизавета сейчас поджидала дочь; и поздравление императрицы жениху – дипломатическому агенту русской миссии в Париже, кавалеру многих орденов, барону Димитрию Корфу и его невесте графине Марии Строиловой («Теперь баронесса Корф!» – Елизавета торопливо, благодарно перекрестилась). А что за платье было на Машеньке! Какой же она выглядела прелестной и невинной в этом платье! При взгляде на невесту не приходилось удивляться любви к ней Димитрия Васильевича – любви, вспыхнувшей так внезапно и воспламенившей его столь сильно, что он сделал предложение Машеньке на другой же день после знакомства – после головокружительно быстрого ухаживания, более напоминавшего штурм, – а через две недели, лишь только мало-мальски позволили приличия, повел ее под венец. Вдобавок Корфа ожидали неотложные дела в посольстве, и такая торопливость, показавшаяся бы неуместной во всякое другое время, теперь вполне устраивала и невесту, и ее матушку с тетушкой.

Право слово, удача. Жених не стар, но уже в возрасте, – Маша будет за ним как за каменной стеной. «Place, messieurs, place! Madame Korph passe!»³⁰ – словно бы услышала Елизавета в своем воображении, и, когда дверь из туалетной дочери распахнулась, она сделала глубокий реверанс дивному созданию в нежно-розовом, с сиреневым отливом, пеньюаре. Чепчик, из-под которого струились русые кудри, был обрамлен пышным кружевом того же цвета, что и пеньюар; и все оттенки сиреневого играли вокруг тонкого лица Маши, делая кожу белоснежно-матовой и выгодно оттеняя светло-карие глаза, казавшиеся огромными в обрамлении длинных, круто загнутых ресниц. «Боже мой, в ее годы я и на четверть не была такой красавицей. Погодите-ка, эта поселянка за своими юбками еще пол-Парижа поведет!»

Елизавета невольно расхохоталась – такой сконфуженный вид сделался у Машеньки, когда она увидела мать, склонившуюся в поклоне. Дочь тут же бросилась поднимать Елизавету, та крепко обняла Машу – и обе повалились на ковер, безудержно чмокая друг друга и хохоча от восторга.

Но вот Машенька оборвала смех и приподнялась, поправляя кокетливое кружево сбившегося чепца, – да так и пригорюнилась.

– О чем ты, моя радость? – тихо спросила Елизавета, но тут же и прикусила язык: она знала, о чем беспокоится дочь, потому что сама непрестанно тревожилась о том же.

– Мне страшно, маменька, – глухо проговорила Маша; кудри занавесили ее лицо пепельно-русой вуалью.

Елизавета молча пожала ее руку.

– Как вы думаете, может быть, сказать барону... – Маша осеклась, будто поперхнулась своим безумным намерением.

Она ожидала, что мать обрушится на нее с уговорами, но Елизавета лишь вздохнула, все так же лежа на ковре и глядя на дочь снизу вверх. Не слыша ответа, Маша повернула голову и с изумлением увидела, что матушка едва заметно улыбается. Говорят, дочь не может быть более нравственной, чем мать, и все же честность Маши приятно поразила княгиню.

– Знаю, Димитрий Васильевич тебе по сердцу...

– По сердцу! – жарко подхватила Маша. – Ах, конечно же! В том-то и беда!

– Как ты думаешь, – осторожно проговорила Елизавета, приподнимаясь и прижимая голову дочери к своей груди, – а ты могла бы... полюбить его?

³⁰ Дорогу, господа, дорогу! Идет госпожа Корф! (фр.)

Маша молчала. Полюбить!.. бог весть, способна ли она полюбить мужчину после той пытки, которую приуготовил для нее Григорий, чтоб ему вечно гореть в геенне огненной, дьявольскому отродью! Но ведь не у всех так бывает. Любовь ее матери к отчиму... она и страстна, и светла, Маша знала это. Бог ты мой, да она ведь даже толком не представляла, что же происходит между мужчиной и женщиной, кои принадлежат друг другу не воровски, а по божьему согласию. Во тьме ли обнимет ее Димитрий или при свечах? Она впервые, даже в мыслях, назвала его лишь по имени и словно бы вновь ощутила губами его твердые теплые губы. Как он сказал ей, еще не отстранясь после первого поцелуя, – тихо, почти беззвучно, почти выдохнул: «Вся юность моя переселилась в сердце мое!» Да ведь он полюбил ее, полюбил, потому и захотел жениться так скоро! И сердце подсказывало Маше, что этот сдержанный, холодноватый, даже суровый на первый взгляд человек сумеет быть столь страстным, что перевернет все ее девические, путанные представления о любви и, может быть, отворит для нее врата к тому самому блаженству, постигнуть которое в полной мере могут лишь двое.

«Я смогу быть с ним счастлива, – подумала Маша, удивляясь собственной уверенности. – Я... я даже смогу полюбить его!»

Она вскинула голову, желая тотчас же поделиться с матушкой своим открытием, как вдруг заметила, что на устах княгини блуждает тихая, печальная улыбка, а по щеке ползет слезинка.

– Что вы, матушка? – испугалась Маша, стыдясь, что мысли ее угаданы.

Елизавета подняла на дочь свои прекрасные глаза:

– Ты выросла, моя родная...

Ее взор светился любовью, и Маша с облегчением уткнулась лицом в милую впадинку между шеей и плечом матушки. Они обе были благодарны судьбе, что Димитрий Васильевич не возражал, чтобы княгиня Елизавета и Евлалия Никандровна пробыли с Машенькой до наступления ночи: его отвлекло от юной жены прибытие курьера из Парижа; Маша уже успела понять, что дела на благо отечества будут для ее супруга прежде всего на свете.

Впрочем, он намеревался долго не задерживаться, и графиня Строилова, которую тоже пригласили в кабинет барона, ибо она, по всему вероятию, была посвящена во все тонкости его дипломатической работы, обещала заранее известить Машу, когда барон освободится от государственных дел для дел супружества.

А вот, пожалуй, и она... да, это ее грузные, но торопливые шаги раздаются в коридоре, ее рука отворяет дверь, она входит, нет, врывается в комнату... О боже, но почему в таком виде?! Парик снежной белизны сбит набок, и из-под него торчат седовато-пегие жиденькие волосы, старческая грудь вот-вот готова выскочить из тесного корсета, и тетушка так тяжело дышит. Ох, да ведь ее сейчас удар хватит!..

Елизавета с Машей вскочили, захлопотали, усаживая Евлалию Никандровну в покойные кресла, подставляя под ноги скамеечку, распуская тугую шнуровку корсета, поднося под нос соли и обрызгивая водою с перышка – легонько, чтобы не расплылась краска на лице.

– Тетушка, что с вами, тетушка?! – восклицали они в испуге.

Но графиня сидела, глядя прямо перед собою неподвижным, безумным взором. Вконец уstraшенная, Елизавета вспомнила о проворной Николь и кинулась к звонку, чтобы вызвать камеристку – та ожидала свою хозяйку в людской, – однако в это мгновение Евлалия Никандровна разлепила свои пересохшие, бледные губы и прохрипела:

– Не... надо... тише!

– Да что стряслось, тетушка?! – вновь набросились на нее Елизавета с Машей, обрадованные, что графиня наконец заговорила.

И Евлалия Никандровна, обратив на них страдальческий, потухший взор, с трудом вымолвила:

– Все пропало... мы погибли! Позор, позор... – И голова ее бессильно откинулась на спинку кресла.

* * *

Можно вообразить, каких страхов натерпелись Елизавета и Маша, покуда приводили в чувство старую графиню! Но первые слова очнувшейся тетушки показались совсем не страшными:

– Он сказал, что Машенька для него – воплощение мечты о невинности!

Видя, что княгиня с дочерью никак не могут понять, что же ее так подкосило, Евлалия Никандровна от раздражения на их недогадливость враз оправилась и поведала следующее.

По отбытии курьера, который привез из Франции – от посла Барятинского – требование к барону Корфу незамедлительно воротиться в Париж, ибо его ждут там некие безотлагательные дела, Димитрий Васильевич остался наедине с графинею и еще раз поблагодарил за счастье знакомства с ее очаровательной племянницей.

– Вы даже не можете себе вообразить, графиня, сколь много значит для меня невинность этой жемчужины! – с восторженной нежностью проговорил он.

Без сомнения, барон был утомлен прошедшим днем и взволнован предстоящей ночью, иначе он не был бы так безудержно откровенен с графинею.

– Мало кому ведомо, ваше сиятельство, – говорил барон, выпивая для спокойствия рюмочку кларету и потчуя графиню, – что я уже был женат...

– Вы?! – вскричала достопочтенная дама, пораженная до глубины души не столько самим фактом, сколько тем, что она – она! – не имела об этом доселе ни малейшего представления.

– Да, я, – подтвердил барон. – Брак мой свершился давно – мне было тогда едва ли семнадцать. Полжизни тому назад! А длился он всего лишь два месяца и не принес мне ничего, кроме несчастья, поэтому, надеюсь, извинительно мне стараться не вспоминать о нем. Подчеркиваю – я был молод и страстно влюблен в соседку нашу по имению... У меня не было никаких шансов добиться расположения милейшей Оленьки, так как вокруг вились самые завидные женихи. Я горевал... Чтобы излечиться, уехал к родственникам в Ригу, а воротясь через месяц, нашел Оленьку совершенно ко мне переменявшейся!словно бы разлука оказалась тем вихрем, который раздул искорку чувства в бушующий костер. Бывают дураки на свете, и я в ту пору был из их числа! – заметил барон как бы в скобках, и графиня, не понимавшая, куда он клонит, вежливо, но сочувственно улыбнулась в ответ. – Ну, что долго тянуть с рассказом... я сделал предложение – оно было радостно принято. Чванливые родители Оленьки лили над нами умиленные слезы и не перечили, когда я заспешил со свадьбой. Минул едва месяц... нет, недели две моего жениховства («Какое совпадение!» – мысленно усмехнулась графиня), а я был уже обвенчан с любезною моею. Но, как ни был я в ту пору прост и невинен, все же я кое-что знал об отношениях полов. Страшное подозрение зародилось у меня в нашу брачную ночь; но Оленька была так мила и нежна со мною, что я гнал его прочь от себя. Вы же знаете, как слепа любовь!

– Да, знаю, – машинально проговорила графиня; ее вдруг начала бить дрожь.

– Прошел месяц блаженства нашего, – продолжал барон. – К концу его я усомнился в любви ко мне жены. Чудилось, я ее раздражаю несносно! Впрочем, она вообще была нервна: чуть что, падала в обморок, ее мучило от запаха еды... Вскоре я узнал, что буду иметь счастье оказаться отцом.

Графиня поперхнулась и отставила свою рюмку.

– И вот однажды, – продолжал барон, сурово глядя в какую-то книгу, словно читал там о своем печальном прошлом, – однажды жена моя оступилась на лестнице, упала... у нее случился выкидыш, и она умерла от потери крови.

– Какое несчастье! – чужим голосом воскликнула графиня.

– Горе мое было ужасно, однако усугубляло его то, что жена моя выкинула трехмесячный плод, хотя со времени нашей свадьбы минул лишь месяц!

Все враз сделалось мне понятно. Я мечтал о любви, а меня поймали, как дурака. Мною пользовались, как куклою без чувств и мыслей. Горше всего было то, что я сознавал: ежели бы она призналась, ежели попросила бы у меня помощи!.. Я счастлив был бы спасти ее от позора, ибо любил ее без памяти. Но... но случилось то, что случилось. И это совершенно изменило меня самого и жизнь мою. Я более не мог удовлетворяться участью богатого недоросля, каким был прежде. Я начал учиться, поступил в армию, затем в дипломатическую службу. Судьба с тех пор была ко мне благосклонна, женщины не обходили меня своим вниманием, да и я не обижал их отсутствием внимания своего, что скрывать! Но еще тогда, в тот день, когда я узнал о тайне жены моей, я поклялся себе: если решусь жениться – о, в ту пору сие казалось несбыточным! – то женою моею станет юная, неиспорченная, невинная девица. Лишь увидев Марию, я понял – судьба и впрямь благоприятствует мне! Замкнулся круг моих исканий... Что с вами, графиня?! – Димитрий Васильевич испуганно вскочил.

– Ни-че-го... – Графиня отвернула от него побелевшее лицо. И тотчас ее бросило в жар, да так, что она начала задыхаться. Надо было уйти во что бы то ни стало! В последние минуты ей чудилось, будто барон каждым словом своим вгоняет ей раскаленные иглы под кожу. Еще мгновение – и ее хватит удар! – Я немного устала. Простите, но...

– О, это вы простите меня! – Барон поцеловал похолодевшую руку Евлалии. – Сам не знаю, что за болтословие на меня нашло. Покойной ночи, дорогая тетушка. Не откажите в любезности сказать Марии Валерьяновне, что я буду у ней самое большее через полчаса. Ванна моя уже простыла, вероятно; ну что ж, тем скорее я ее завершу!

Он вышел, оставив графиню в состоянии, близком к умопомешательству, но все ж у нее еще достало сил добраться до комнат, где ее ожидали Елизавета с дочерью, достало сил произнести: «Мы погибли... позор...»

Какое-то время в будуаре царила гробовая тишина. Елизавета и Маша смотрели друг на друга испуганными глазами, графиня с закрытыми глазами полулежала в креслах, бормоча себе под нос одно только слово:

– Позор... позор...

В конце концов Елизавета, которой нестерпимо сделалось видеть в глазах дочери это затравленное выражение, не выдержала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.